

Михаил Зарубин



Мы-Погодаевские

Михаил Константинович Зарубин

Мы-Погодаевские

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70505776

SelfPub; 2024

Аннотация

"Мы – Погодаевские" – одна из первых книг, выпущенная М.К. Зарубин. Это начало его творческого пути, поиски себя, как автора. Как и дальнейших произведения Михаила Зарубина, автор опирается на свой жизненный опыт, встречи, переживания, от того герои этой его книги, и его книг вообще – так близки нам, так по настоящему сопереживаем им.

Содержание

«Господи, научи, как спасти эту Землю...»	5
Георгий Замаратский	11
Деревня Погодаева	11
Жители Погодаевой	16
Дед Филипп	25
Слава Илима	28
Погодаевские мужики	48
Отец	57
Учителя	68
Мазила	93
Ход конем	97
Бытовая сюита	103
Сон в руку	107
В час ночи	111
Двести шагов	129
Огненный змей и бабушка	141
Встречи с Валентином Распутиным	145
Егоркина страсть	153
Воспитатель дед Филипп	158
Задание выполнено!	162
Риск	163
Стакан горячего чая	170
Чаепитие на утиной охоте	177

Белый свет	185
В лесу собесов не бывает	193
Первый успех	199
Заячьи фокусы	204
Пастух	207
Вступление	209
Деревенская память	211
Кормилец	212
Малая родина	214
Немного истории	216
На новом месте	218
РДК	223
Кадры	224
И снова о кадрах	228
Паренек из деревни Зыряновой	233
Михаил Зарубин	243
«Позови меня, тихая родина...»	243
«А в детство заглянуть так хочется...»	299
Зачем я об этом пишу	349
Об авторах	354

Михаил Зарубин

Мы-Погодаевские

«Господи, научи, как спасти эту Землю...»

Очерки М. Зарубина под поэтическим названием «Позови меня тихая родина» – печальное повествование о нас и нашем – «родстве не помнящем» времени.

Этот крик души патриота своей родины, увидевшего через много лет родную, любимую Сибирь практически погибающей, никому не нужной.

Это – крик предупреждение человека, прожившего трудную жизнь в крепостной совдепии и превратившего себя – деревенского парня в высококвалифицированного руководителя известного питерского строительного треста, предупреждение – опомнитесь, пока не поздно. Люди, что вы делаете, почему в 21 веке ходите под себя на своей собственной земле? Куда делась ваша российская деловитость землепроходцев, куда, черт побрал, делся ваш патриотизм, вера и желание обустроить свой мир. Как так получилось, что корневые люди потеряли тягу к «лучшему чувству жизни» на этих благодатных землях. Кстати, эти земли дали

стране таких знаменитостей, как В. Сурков, М. Янгель, А. Вампилов и многих, многих других.

Очерки проникнуты горечью автора о теперешнем жистие-бытие его сородичей на Ангаре, которые до сих пор от голода спасаются огородами. Их смешных пенсий не хватает на гробовые.

Как так получилось, что в коммунальной совдепии с ее сюрреалистическими законами, заводы, фабрики, обустривались хозяйства, а сейчас, в период демократии, все разрушается. Из Сибири бежит народ, бросает дома, поселки, города. Народы забывает, теряет свое прошлое – это странно и страшно.

Автор от своего дома на берегу. Ангары полусгнивший венец. Все это особенно трагично в контрасте с воспоминаниями о детстве, написанных с замечательной нежностью. О таком детстве сейчас можно только мечтать. Лучшие страницы посвящены пережившей все страшные года истории страны и сохранившей достоинство, доброту и любовь к людям в жизни.

Путешествие на Малую Родину автора – серьезный документ, написанный ответственным человеком, болеющим за будущее страны.

Это крик дуги автора – «Господи, научи как спасти эту землю, для России, иначе грядет катастрофа».

Народный художник России,
Член Союза писателей
Действительный член Российской академии художеств
Лауреат Государственных премий СССР и России Э. С.
Кочергин

Георгий Иннокентьевич Замаратский и Михали Константинович Зарубин – два имени, два автора в одной книге под общим названием «Мы – Погодаевские». В чем секрет этой общности? СИБИРЬ, деревня Погодаева на реке Илим, где оба они прожили свои чудесные дни. В 60-е года Георгий Иннокентьевич был учителем рисования в погодаевской школе и учил Мишу Зарубина рисованию. Жизненным ветром Мишу оторвало от родного края и унесло в другой конец страны. Но любовь к малой родине сохранилась у него навсегда. Теперь оба автора именитые, заслуженные, и они с радостью и тоской, вспоминая о своей деревне, пишут в стихах и прозе о судьбах, о том времени, о себе... Удивительным образом живописная сибирская земля, воздух необъятных просторов – все это произросло в них и воплотилось в творчестве.

Георгий Иннокентьевич Замаратский – певец Илима. Дар ему дан сверху. Он прозаик, поэт и художник. В свои произведениях, стихах и картинах воспел деревню Погодаеву, где родился и жил до конца ее гибели. Его романы «Твой ход, Января», «Пыхуны», повести «Поселенец», «Ехин фарт» образчик прозы о деревенской жизни, написаны с любовью, талантом

ливо. При всей трагичности повествования – ощущение чистоты, сопричастности с прочитанным. Люди, живущие в гармонии с природой – вот основной мотив, а родной Илим – богатейший край. Тайга с чистой речек и озоном сосновых боров, плодородие лугов и пашен, обилие рыбы, птицы, пушнины, радость и горечь. Писать пронзительно, ярко, неравнодушно к своей земле может только талантливый человек.

Талант Замаратского многогранен. С детства любил рисовать. В то далекое время он не помышлял, что станет художником, в деревне это считалось баловством, но красота, окружающая его, подталкивала, заставляла брать карандаш, кисть и писать картины. Настойчивость победила, вопреки воле родных Георгий стал художником и вернулся в родных края, они не отпускали от себя, словно якорь держали его. Работал учителем в школе, художником в доме культур, где работая с театральным коллективом, стал режиссером. И только с его приходом и работой с утра до ночи театр получил звание «Народного».

Поэзия стала неотъемлемой частью творчества Георгия Иннокентьевича. Он пишет много, и как художник, подмечает характеры и окружающий мир. Его стихи близки и понятно выем, они о земляках – илимчанах, о тех, кто помнит деревню Погодаеву, погибшую от рук человеческих и остатки которой на дне морском. Но полевая дорожка, проселок и с детства знакомые колеи среди трав, луг перед деревней

с кривой сосной всегда в сердце.

И все-таки он больше прозаик, самобытный, крестьянский писатель. К сожалению, в наше нелегкое время, когда не до литературы, когда на поддержку писателя нет средств, талант Замаратского остается неоцененным на государственном уровне. Даст Бог придет его время, будем жить надеждой.

В этой книжке собраны рассказы, очерки, зарисовки, стихи, которые не печатались ранее. Они не выходили в издаваемые сборники, один не хватало места, другие, как считал Георгий Иннокентьевич, были несовершенно. Но все написанное потрясает. Так писать может только настоящий мастер.

Эту книгу ждуют близкие друзья, ждуют и знающие и любящие своего писателя – земляка читателя из города Железногорск – Илимского. Для них Георгий Иннокентьевич – почетный гражданин города, заслуженный работник культуры Российской Федерации – всегда желанный гость.

Михаил Константинович Зарубин – строитель, но всегда обладал даром художественного слова, писал стихи, журналистские репортажи, и это уже вторая его книга. Очерки Михаила Константиновича – это продолжение книги «Я родом с Илима». В них автор, удостоенный государственных и правительственных званий, наград, действительный член иностранных академий, отмеченный общественными премиями и званиями заглядывает в детство, путешествуя

по местам, где родился.

Летом 2007 года, наконец, состоялась встреча Замаратского и Зарубина, результатом которой стал этот совместный труд. Он получился искренним, интересным в подлинности истории, и грустным, потому что их Малой Родины сегодня нет на карте земли, она под водой.

Анна Бунева

Георгий Замаратский

Деревня Погодаева

Профессор Шерстобоев в своем двухтомнике «Илимская пашня» пишет, что деревня Погодаева возникла в 1648 году, хотя она, наверное, появилась раньше, едва ли не с появлением первопроходцев на Илим: очень уж красивое, выгодное во всех смыслах было место. Большой мыс под пашни, заливные луга под сенокосы и на мысу. И на речках Рассохе и Тушаме; бор чудесный сосновый с грибами и ягодами; болото с утками, гусями, щуками, окунями; кулига – место для выпаса скота. Живи да радуйся! Знай не ленись, пироги сами в рот полезут. Замечательное место! Впрочем, на Илимке таких мест было не мало.

В донесении царю первопроходцы писали, что ниже по Илимке от устья речки Тушамы по правому и левому берегу есть большие Елани, пригодные для Разумеется, такие места не могли оставаться незаселенными; к тому же в реке водились в изобилии ельцы, сорога, щука, таймени, ленки, хариусы, а в лесах сохатые, олени, медведи, глухари, тальники (тетерева), рябчики...

Это могло спасти от голодной смерти неурожайные годы (чаще от заморозков, реже от засухи).

Поставили деревню сразу же за песчаным (красным) яром, на высоком берегу. Окнами на юг, к солнцу. Подходы к реке, усеянные сначала травкой, а возле воды мелкой галькой, были удобны. Воду брали с лавниц – широких и толстых досок, на одном конце которых ставились две ножки, как у лавки.

В предколхозный период деревня имела примерно сорок семь дворов и тянулась по берегу больше чем на километр. В каждом дворе приличный. Как правило, пятистенный дом с резными наличниками на окнах, амбары, баня. Сарай с хлевами, завозня, погреб, ну и, разумеется, ворота, калитка, заплоты глухие, высокие, из балошин (бревнышки в диаметре до 12–15 сантиметров).

За усадьбой – огород соток на тридцать, конюшня, гумно за огородом, где-то в поле – надел пашни, на речках – сенокосные угодья. Все размерено, рассчитано, проверено, выверено годами, десятилетиями, веками...

Казалось бы, что можно изменить в вековечном мудром укладе? Подошла весна – паши пашню, сей хлеб. Наступило лето – коси сено, осенью – убирай урожай, зимой – в извоз. И все в доме от мала до велика у дела, все в заботах и хлопотах. Престарелые нянчатся с внуками, правнуками, подростки с отцами в поле, на лугу, на конюшне, на гумне... Женщины, девочки возятся со скотиной, с курами, по хозяйству.

Молодежь вечерами, особенно по весне шла на поскотину, где у Кривой сосны проводили игранчики, то есть пели,

плясали, танцевали, короче говоря, показывали, кто на что годен, сами порой об этом не догадываясь; веселимся – и все.

Потом пошли колхозы. Они несколько изменили привычное течение жизни. Произошло разделение труда: кто-то пахал, кто-то доил коров, кто-то выращивал свиней, кто – то назначался на разные работы. Изменилось (постепенно, конечно) отношение к труду, к инвентарю, к лошадям. Люди стали лениться, а то и лодырничать, уверенные в том, что кто – то за них что – то сделает. Высокой сознательности, той которая нужна в общественном производстве, у многих не хватило, хотя у нас, подростков, отношение к земле, к хлебу, к лесу было едва ли не святым, очевидно, срабатывали вековые привычки, говорили инстинкты хлеборобов.

Помню, пошли мы однажды полакомиться на колхозном поле зеленым горошком. Не заметила, как со стороны леса на колхозном жеребце к нам подъехал бригадир. Он хищно прокричал что – то и ринулся к нам, размахивая бичом. Нас, ребятню, как ветром сдуло. Но бежали мы строго по дороге, не смея свернуть в сторону, так как по бокам стеной стояла высокая пшеница, зеленая и плотная. Потоптать ее? Ни за что!

Сзади неумолимо приближался бригадир. От страха наши сердчишки ушли в пятки, но ни один не бросился в пшеницу, каждый принял удар плетью по мягкому месту.

Я до сих пор не могу смотреть, как в передачах по телевизору показывают агрономов, председателей и прочих высо-

ких чинов, свободно шагающих среди посевов колосющихся хлебов. Может быть, вред они наносят копеечный, но пример их далеко не благопристойный: глядя на них, другой позволит себе и на тракторе «прокатиться» по местному полю, и костер в лесу не затушить, и зарыть в землю бульдозером металлолом, и рельсы на дороге своротить. А что? Разве не все можно? Тем более что это общее, – значит, не мое... Мы же видели, успели увидеть, как по инерции свято относились к земле, к хлебу истинные хлебопашцы не одного поколения...

Поле начиналось от верхнего края деревне узким клином, потом бор отходил в сторону, освобождая просторный мыс, затем он снова подходил к реке у Озерков и под прямым углом уходил к ельнику. Здесь, за осеком (изгородь, защищающая поле от потрав скотом), начиналась кулига, обрамленная с двух сторон болотом.

От деревни шли дороги в поле – на Пак, в Кочевник, в Озерки и в лес – в Семеновскую гарь, за болота в Подстопочки, на Рассоху и Тушаму.

По дороге в кулигу через лес на опушке располагалось кладбище, прозванное каким – то остряком черепанкой. Когда – то кладбище было огорожено высоким заплотом, за время войны от заплота остались одни столбы, балки были похищены на дрова.

К достопримечательностям окрестностей можно отнести первые и вторые кусты, буйно разросшиеся по берегу Илима,

а ниже деревни – первую и вторую Прорву. Хутор, Малую речку и Большие черемуховые кусты в кулиге.

Колодцев в деревне не было, ключей, родников – тоже, если не считать роднички выше деревни под Красным яром, которые весной все равно затапливались, и людям приходилось во время и после ледохода пить мутную воду, процеживая ее через несколько слоев марли, и тщательно кипятить. Родники были на болоте, но за три – четыре километра за водой никто не отваживался ходить за семь верст киселя хлебать!

Что еще интересного было в нашей деревне? Люди? Конечно, же они,

*Аполлинарка
гармонист
Шагает и красив,
и молод.
Чуть сбоку – важен,
голосист —
Частушки сылет
Мишка Солод...*

Жители Погодаевой

Я попросил Степана Филипповича Черемных перечислить всех жителей доколхозной деревни.

– Почему доколхозной?

– Потому что жителей колхозной деревни я в основном помню, сам рос среди них, видел их, знаю...

– Добро, – согласился Степан Филиппович, – я очень рад, что среди земляков нашелся один человек, который проявил интерес и пожелал описать нашу малую родину. Спасибо вам за это.

– Это вам спасибо.

– Мне трудно ответить полностью на этот вопрос, потому что в молодости это не приходило в голову (пока мы молодые – нам нет до истории дела), а сейчас многое забылось и спросить не у кого. Но начну.

Хорошо знал соседа Ткаченка Евсея. Он уроженец Украины, крепостной. Вел борьбу против помещиков, поджигал их усадьбы. Был предан суду и этапирован пешком в Сибирь. Умер в 1931 году в возрасте 114 лет.

Знал Замаратского Евгения. За укрытие партизан был избит карателями розгами. Знал Замаратского Василия. У него было два сына – Егор и Яков. Егор был активным партизаном, а Яков – врагом советской власти. Василий умер в 1928 году.

Хорошо знал Никифора Ивановича Погодаева. Его сыновья – Иван и Василий – были партизанами. Никифор скончался в 1934 году в возрасте 84 лет. (Я помню дедушку Никифора. Он был большого роста, светловолосый, нет, не седой, помню его рассказы, как он турок через плечо на копье бросал в Болгарии. – Г. З.)

Деревня Погодаева в большинстве своем состояла из бедняков, хлеба зачастую до нового урожая не хватало.

Но два хозяйства в деревне были кулацкими – Замаратского Василмя Павлиновича. Погодаева Григория Васильевича. Они имели кожевенные заводы, содержали работников и нещадно их эксплуатировали.

Население деревни было в основном неграмотным, о культурной работе и говорить не приходится, как и о медицинской помощи. Отвечаю на вопрос, кто и в каких домах жил (начиная с верхнего края).

1. Куклин Егор – батрак. Его дом стоял на значительном расстоянии от деревни.

2. Черных Виктор Радионович – бедняк.

3. Жмуров Василий погиб на фронте.

4. анисимов Егор – умер от тифа. Жена – тоже.

5. Замаратский Евгений – зажиточный крестьянин.

6. Погодаев Василий Архипович – многодетный бедняк. Сын Яков погиб на фронте, дочь Зоя ушла на фронт. Сейчас живет в Железногорске.

7. Погодаев Евгений Архипович – бедняк. Был избит ка-

рателями. В 1927 году вступил в члены ВКП(б).

8. Ткаченко Иван Евсеевич – бедняк, партизан. В колхоз не вступил.

9. Черемных Филипп Степанович – мой отец, маломощный середняк, участник колхозного движения. Избирался членом правления коммуны и колхоза.

10. Анисимов Никита Трифонович бедняк. Во время коллективизации выехал из деревни.

11. Замаратский Василий Павлинович – кулак, ярый противник колхозного движения. Раскулачен, выслан из деревни.

12. Погодаев Иван Васильевич – маломощный середняк. В колхоз не вступил, выехал из деревни.

13. Ведерников Федор Елизарович – маломощный середняк. В колхоз не вступил.

14. Курин Яков Серафимович – служащий. Первый телеграфист из илимчан. Потом бухгалтер. Умер в Железногорске в 1983м. Хорошо знал история Илима.

15. Черемных Дмитрий Степанович – середняк. (Я его хорошо знаю. – Г. З.)

16. Черемных Николай Дмитриевич, Иван Дмитриевич – его сыновья. Один – кузнец, другой – счетовод колхоза.

17. Погодаев Иван Андреевич – бедняк. Рано скончался с женой. В их доме колхоз сделал конюховскую.

18. Жмуров Аверьян – сам был парализован. Его жена являлась членом ВКП(б). Имели трех сыновей. Абросим рабо-

тал в ОГПУ. Иван – учитель, Андрей – художник. Из деревни все выехали, бросив красивый дом, усадьбу.

19. Погодаев Иван Иванович – бедняк, член ВКП(б), принимал активное участие в колхозном движении, был председателем колхоза. Его брат Денис Иванович вел в школе физкультуру.

Погодаев Григорий Васильевич – середняк. Были у него три сына. Первый – Василий – участник войны, орденосец, колхозный конюх и отличный гармонист. (Его сын Аполлинар Васильевич, участник войны, был ранен в предплечье левой руки, стал калекой, но разработал руку, стал работать трактористом и замечательно играл на гармошке. Это про него написано стихотворение «Память», напечатанное в газете «Маяк коммунизма». —Г.З.). Второй – Иван – во время войны служил старшиной в Забайкалье. После войны долгое время работал председателем сельсовета. Третий – Александр – был ранен на фронте в ладонь левой руки. Комиссован в звании лейтенанта (или старшего лейтенанта), работал в ДОСАФ, в рыбоохране.

20. Шестаков Денис – безрукий, увлекался садоводством, пытался вырастить яблони на Илимe.

21. Замаратский Игнатий Павлович – зажиточный середняк. Имел хороший дом и надворные постройки. Вступил в колхоз. Брат его был кулак. Сын Владимир – фронтовик, совершил подвиг в Эстонии, подбил много танков.

22. Погодаев Яков Иванович – партизан, член ВКП(б). Ра-

ботал в «Союзушнине», председателем районпотребсоюза. Жена его до сих пор живет в Железногорске. Сын Василий – полковник, дочь Валентина – учительница 2-й школы Железногорска.

23. Замаратский Трофим Филиппович – в числе первых вступил в коммуны, в колхоз. Сын Николай был комсомольцем.

24. Замаратский Иннокентий Михайлович – первый председатель колхоза, член ВКП(б) с 1927 года. Был преданным коммуналителем. Отдал новый дом под столовую коммуны, а сам ушел в другую избу. Жена его – Надежда Федотовна славила как отличная стряпуха. Ее хлеб ела вся коммуна.

25. Замаратский Матвей Иосифович – середняк, в колхоз вступил неохотно. Участвовал в заговоре против коммуны.

26. Замаратский Петр Тимофеевич – середняк.

27. Погодаев Иван Никифорович, член ВКП(б), партизан, активный организатор колхоза. Работал бригадиром, был секретарем парторганизации.

28. Замаратский Яков Степанович – в колхозе не был, уехал в Грузию.

29. Замаратский Аполлинар Семенович – занимался грабежами. Отец его был «головой» в Нижнеилимской волости. Дети Аполлинара были совсем другими. Константин – фронтовик, орденоносец, дослужился до подполковника, был директором совхоза: Егор – передовик колхоза, животновод, погиб на фронте.

30. Погодаев Василий Никифорович – член ВКП(б) с 1927 года. Работал заведующим кредитным товариществом. Сын его Яков один из первых в деревне получил высшее образование. Сын Николай – отважный танкист, пять раз горел в танках на фронте. Живет в Братске. Сын вышел на пенсию, живет в Иркутске. Дочь Клавдия погибла на фронте.

31. Погодаев Григорий Егорович – ярый кулак. Был раскулачен и выслан из деревни.

32. Солодков Михаил Егорович – ярый противник коллективизации. участвовал в кулацком сговоре против колхоза.

33. Солодков Евстафий Михайлович – жил бедно. Перед коллективизацией выехал в Якутск.

34. Солодков Василий Степанович – бедняк, кузнец. Поддавался кулацкому воздействию, в колхоз то вступал, то выходил.

35. Замаратский Егор Евгеньевич – жил хорошо. В колхоз не вступил.

36. Погодаев Прокопий Иванович – вступил в колхоз. Имел много детей. Два сына погибли на фронте.

37. Анкудинов Иннокентий Александрович – жил хорошо. В колхоз вступил с неохотой.

38. Замаратский Дмитрий Евстафьевич – был колхозником, потом выехал из деревни.

39. Замаратский Александр Тимофеевич – член ВКП(б) командир партизанского отряда. Перед коллективизацией

выехал в Бодайбо.

40. Анкудинов Василий Иннокентьевич – вступил в колхоз неохотно. Погиб на фронте.

Я слушал, волновался, узнавая многих, которых хорошо помнил. Улавливал изменения после организации колхозов. Кто-то переехал в кулацкие усадьбы, кто-то остался в своих. Кто еще выехал из деревни, кто вернулся в силу каких-то соображений.

Степан Филиппович продолжал:

– Первыми членами правления были: Замаратский Иннокентий Михайлович – председатель; Погодаев Иван Никифорович – бригадир) Черемных Филипп Степанович – хозяйственник; Погодаев Евгений Архипович – животновод; Погодаев Иван Иванович – член правления.

При коммуне был трактор, на котором работал мой брат Борис. Колхоз был назван «Трактор» – как мечта о зажиточной жизни, об облегчении тяжелового крестьянского тракта в качестве шефской помощи. Встречали его всей деревней с флагами и песнями.

Радио в деревню провели в 1920-м, а электричество – в 1937 году. Радости было много; еще бы, светло в дом, как днем!

На кредиты государства построили на верхнем краю деревни две типовые конюшни, конюховскую, завозню, крытые помещения для сена, двухэтажный амбар для овса и сбруи. Посередине деревни, ближе в лесу, выстроили типо-

вые коровники и свинарник, молоканку, запарник, овощехранилище, силосные ямы. Закупили жатки, сноповязалку, сенокосилки, конные грабли и прочий сельхозинвентарь. Купили трактор «ХТЗ», двигатель «Дизель». Механизировали крытый тесом просторный ток.

Жизнь налаживалась. Стали получать хорошие урожаи, получали хлеб и деньги на трудодни, накупили велосипеды, патефоны, костюмы. И зажили бы еще лучше, если бы не война, которая основательно подорвала экономику колхоза.

Провели кампанию до ликвидации неграмотности. Моя жена Анна Ивановна (дочь Ивана Никифоровича, бригадира колхоза) была активной комсомолкой, руководила ликбезом, обучала женщин и молодежь. Часто ставили спектакли и концерты, организовывали вечера песен и плясок. Нашу самодеятельность даже в райцентр приглашали, в другие деревни.

Построили в деревне качели, карусели. Славился Иван Григорьевич, который быстро осваивал все сельхозмашины. Прославленными труженицами были Пелагея Степановна Погодаева. Мария Павловна Черемных. Александра Аполлинарьевна Погодаева, Екатерина Прокопьевна Погодаева и многие другие.

Несколько слов о Степане Филипповиче. Ему уже 76. С 15 лет в комсомоле. В 1920 году вступил в партию, в 1931 году направлен в Красноярскую краевую совпартшколу. Закончил ее с отличием и вернулся в свою деревню. Был на-

правлен на работу в газету «Илимский партизан» и вскоре стал ее редактором. В 1938 году был избран секретарем РК ВКП(б). В 1941 году обком ВКП(б) направил его в Заларинский район секретарем. Потом работал секретарем Усолского РК ВКП(б), парторгом ЦК ВКП(б) химзавода, директором Тельминской швейной фабрики, директором Усолского хромзавода, заместителем директора абразивного завода.

Сейчас С. Ф. Черемных – персональный пенсионер республиканского значения, ветеран КПСС, ветеран труда.

*Я увидал: всплакнул
тайком
чернобородый дед
Филипп.
А чтостряслось со
стариком? —
На фронте сын Борис
погиб.*

Дед Филипп

Деревня Погодаева не дала миру таких людей, как академик Михаил Янгель, его брат Александр, генерал – уроженцы деревни Зыряновой, не дала генерала Ступина из села Нижнеилимска, не дала заслуженного учителя Семена Ивановича Косыгина из деревни Коробейниковой, но и в Погодаевой было много интересных людей, один из которых, на мой взгляд, дед Филипп – добровольный и добросовестный воспитатель деревенской ребятни. Может быть, поэтому его собственные дети не плелись в хвосте событий, а меру своих способностей и сил активно строили новую жизнь.

Борис, сын деда Филиппа, упорно и настойчиво проводил среди нас, деревенской ребятни, спортивные соревнования по бегу, метанию гранаты, стрельбе из малокалиберной винтовки (тозовки), по сдаче норм на значок ЮВС (юный Ворошиловский стрелок). Были походы под его руководством на речку Тушаму с «полной боевой выкладкой» – песок в рюкзаках или рюкзаках, песок под ногами и жгучее солнце над головой. Для «интереса» были мы «вооружены» деревянными самострелами, наганами и гранатами. И марш-бросок на шесть километров в один конец. Но и обратно никто нас на машинах или телегах не подвозил, топали ножками.

Борис – среднего роста, крепкого телосложения и, вероятно, большой физической силы. С первых дней войны ушел

на фронт и погиб в боях, как погибли многие мужики и парни деревни.

Филипп Степанович, которого я помню очень хорошо, – коренастый чернобородый крепыш, был общительным человеком, активный строитель колхозной жизни.

Он однажды выпорол крапивой подростка зато, что тот брякнул в колокол, но выпорол не просто, а объясняя, для чего в деревне колокол и что может произойти, если сигнал колокола поймут всерьез. Он же и похвалил позже этого подростка за то, что тот сделал модель самолета «Максим Горький». Как он восхищался умелыми руками подростка, как хвалил за мастеровой талант. Особенно его восхищало то, что все четыре пропеллера вращались на бегу, как настоящие.

Работал дел Филипп в колхозе на лошади, подвозил корма к фермам, выполнял и другие работы. Вместе с ним ездил внук, пяти или шестилетний крепенький мальчуган, который впоследствии окончил Ленинградское военное училище им. Дзержинского, сейчас на пенсии, живет в Ленинграде.

Я как-то наблюдал странную картину, которая поразила меня необычностью. Дед Филипп подъехал к молоканке (помещение для процеживания и сепарирования молока), ушел в нее, а внук остался на телеге. Лошадь пошла, а внук стал ее останавливать, но не вожжами, как полагалось... Он по детской неопытности стал удерживать лошадь за телегу. Ме-

ня удивила та сила, слезы и даже злость, с которой малыш пытался достичь цели. Я позавидовал его настойчивому характеру.

Слава Илима

Часть I

Счастье детства. Год 1940

*Вчера в лесу кукушка куковала,
Листвяжки чуть припудрились хвоей.
Соскучились по воле мы немало
В деревне Погодаевой своей,
Прощайте до зимы коньки и санки
Да здравствует река и лес, и луг
Мы подзабыли, где растут саранки,
И где растет за Прорвой дикий лук.
И вот идем, такие боевые,
В Кулигу порыбачить на реке,
В консервных банках черви дождевые.
И длинные удилица в руке.
В холщовых сумках молоко и шаньги,
И свежие, из печки, калачи...
Костенков Глебка на ходу о Таньке,
Своей подружке, что-то отмочил.
Ребята ржут, ребятам интересно,*

Но Санька Предка строго хмурит бровью:
– Ну, паря Глебка, разве это честно?
Нельзя так откровенно про любовь.
Ты расскажи про что-нибудь другое,
Про то, как гнал тебя колхозный бык...
Смущенный Глеб затылок скреб рукою
И замолкал: к насмешкам не привык.
По мягкому проселку через поле
Шагаем от деревни босиком.
Закончились, ура-а! уроки в школе,
И вот нас овевает ветерком
Гарь-Угол. Лес. Идем мы вдоль опушки,
По ходу слева – Озерки в кустах,
Где квакают ожившие лягушки
В покрытых нежной зеленью местах.
А вот и осек изгородь такая,
Что охраняет поле от скота.
Кулига – дальше. Речка, истекая
Из тихого болота у хребта,
Змеей не вьется, словно потока
Желанья чьим-то. Чем не красота?
Вот и река. Зеленый длинный берег
И кромка плеса, ровная, как нить...
Учитель в школе говорил про Терек,
Илим и Терек! Разве их сравнить?
По берегу, мы разбежались мигом,
Забрасывая в воду поплавки,
И в воодушевлении великом
Добычу ожидали из реки.

Вот Лешка Пап поймал ельца с мокченом,
А Мишка Солод окуня добыл.
И Санька Предка с видом сверхученым
Про тонкости рыбалки нам долбил.
Мы, малыши, разинув рот внимали
Его речам, выстраиваясь в ряд,
И наше сверхусердное вниманье
Так льстило предводителю ребят.
Вот стали попадаться нам мокченны
И редко серебристые ельцы,
Мы радостно вздыхали облегченно,
Сопливые подрости-огольцы.
Потом обед с восторгом уплетали
И жарили мокченов на костре.
А гуси в поднебесье пролетали,
Стремясь достичь гнездовий побыстрей.
А день сиял прозрачностью хрустальной,
Не изнуря нас томительной жарой.
Река с ее поверхностью зеркальной
Текла послеобеденной порой.
И вечером, довольные добычей.
Торжественно шагали по домам
Лишь отдаленный БАМ свирепый бычий
Немного портил настроенье нам.
И солнышко, казалось, неторопко
Стремилось, что ты там ни говори,
На час-другой за Качинскую сопкой
Прилечь в постель из розовой зари.
За Паляниной сумрак шел с востока,

*Меж соснами курчавыми таясь.
По деревенской улице широкой
Довольные ребята шли к домам.
Им не терпелось с гордостью глубокой
Порадовать своей добычей мам.*

Часть II

Борис Черемных

*Но ждал их он, с улыбкою довольной,
Борис Черемных – вроде бы физрук
И военрук, конечно, добровольный,
И, несомненно, самый лучший друг.
Борис был плотный, кругоплечий, сильный
Отсчитывал себе двадцатый год,
Лицом красивый, не словообильный
И погруженный в множество забот.
Он объявил, что следует собраться
Всем завтра утром и позвать с собой
Тех, кто не слышал, и сестер и братцев,
Пусть привыкают к «службе боевой».
И пояснил, что надо собираться
К Кривой Сосне, где будет их «парад».
И потом они начнут соревноваться*

*И в беге, и в метании «гранат».
Потом из тозовки стрелять сверхметко
И ловко надевать противогаз...
Со стороны пусть смотрят малолетки,
И зависть пусть сквозит из ихних глаз...*

Слава Илима

*...Водил Борис подростков и в «походы»
«Вооруженных чуть не до зубов»,
И шли в жару лесной дорогой «взводы»,
Стирая пот с позагорелых лбов.
И итурмовали мельницу на речке.
«Ура-а!» кричали чуть-чуть с хрипотой
Воинственные чудо-человеки
С мальчишескою внешностью простой.
А худощавый мельник бородатый.
На них глядел с глубокою тоской,
Он воевал с германцами когда-то.
Вернулся с покалеченной рукой.
– Зачем, – Борису бросил с укоризной
Старик, – ты мучаешь рубят, ядерна мать?
– Учю их дорожить своей Отчиной
И от врагов ее умело защищать.
Но, дед Трофим, такие настроенья
Приветствовать никак я не могу,*

*И заявляю с явным огорченьем —
Они на радость нашему врагу,
Сказал Борис и посмотрел на деда
С досадным выражением в глазах...
И словно предлагая пообедать,
Сияло светом солнце в небесах.
Пейзаж тушамский – это загляденье!
Сюда бы живописца пригласить, —
Остался бы доволен, без сомненья,
А нас такой пейзаж в душе носить.
У мельницы зеленую полянку
Пересекает мягкость колеи,
Насвистывают птахи спозаранку
До вечера мелодии свои.*

Часть III

Мы – патриоты

*Счастливые до одури, чумазая шпана,
Мы бегали без обуви в залатанных штанах.
Над нами небо синее,
Вокруг полей простор,
А мы об Абиссинии
вели детский спор.*

*Мечта воображения
В Испанию влекла,
Но горечь поражения
Нам в души залегла.
Фашистов ненавидели
И всей своей душой
По лицам взрослых видели,
Что быть войне большой
Учились быть мы смелыми,
«сражаясь» меж собой.
Гордились самострелами
С тугою тетивой
Гудели гумна гулкие
От нашей беготни,
Стучали за проулками
«клинки» у ребятни.
Пусть наши бабки злобились,
А мне грозила мать —
Мы, знай, себе, готовились
Отчизну защищать.*

Часть IV

Год 1941

Костенков Мишка, комиссар пригодный.
В походы нас, подростков не гонял,
Но он Бориса подвиг благородный
«Политикой высокой» дополнял.
Тонул в реке он после ледохода,
Поэтому схватил туберкулез
Прожил на свете чуть побольше года,
И было жалко нам его до слез.
Он в деревенском клубе вечерами
Зимою длинной «лекции читал»
Все о вожде и об «Отчизне-маме»,
И в голосе его звучал металл.
Ходили с ним в кино смотреть Чапая,
Про Чкалова любили говорить.
В газетах про папанинцев читая,
Мечтали сами подвиги творить.
Мы патриотами росли сверхбоевыми,
(Теперь таких, пожалуй, не сыскать!)
И чье-то, всех волнующее имя
Для нас звучало, словно благодать.
Любили мы на лыжах прокатиться
Сугора деревенского к реке,
И на коньках по льду летать, как птицы,
Гоняя клюшкой шайбу на катке.
Костенков Мишка был доволен очень,
Еще бы! Будут ловкими бойцы!
Выносливыми также, между прочим,
Пусть подрастут немного огольцы
Все чаще доходили до колхоза

Тревожные известия о том,
Что нависает над страной угроза,
Печально проникая в каждый дом.
Но вот и снова наступало лето,
Взошли посевы, вспаханы пары...
Война бродила по Европе где-то,
Нас обходя сторонкой до поры.
Пора настала, и двадцать второго
Июня к нас фашисты ворвались,
И мужики из-под родного крова
В ряды красноармейские влились.
А мы, подростки, не предполагали,
Как это бедствие – война!
И сводки с фронта про победы лгали,
Но таяла и таяла страна.
И как же удивились мы однажды,
Когда к Москве фашисты подошли,
И как из нас был растревожен каждый,
Хотя мы жили от войны в дали.
И первые листочки-похоронки
В деревню почтальонша принесла...
Мы осознали, что нельзя в сторонке
Стоять: даешь колхозные дела!

ЯКОВ И ЯКОБ

Костенков Яков (Погодаев)
Охотником отменным был,
Он из двустволки, не гадая.
Влет селезней весенних бил.
Призвали в армию. Танкистом
После коротких курсов стал,
И под Смоленском в поле мгlistом
Фашистский танк он увидал.
Сидел в том танке наглый Яков,
По-русски – Яков) и курил
Сигарету. Он почти без тягот
Европу в танке покорил.
Имел сражений опыт крупный,
Легко противника громил.
По результатам совокупным
Его сам фюрер наградил.
Но ведь и Яков шит не лыком,
Имел отличный глазомер,
Но он в сомнении великом
Подрастерялся не в пример.
О, Яков, Яков! Ты по людям
Ни разу не стрелял пока,
И мы винить тебя не будем
За то, что оробел слегка.
В бою решают все мгновенья —
Не ты его – так он тебя...
Здесь непростительны сомненья,
Знай, успевай-ка, жизнь любя.
И немец Яков хладнокровно

*Влепил в танк Якова снаряд.
Пульс у фашиста бьется ровно
Привычно торжествует взгляд.
Горит наш Яков. В люк танкисты
Ныряют дальше от греха,
А немец Якоб глазом льдыстым
Смотрел и мимо громыхал...
И Яков, спрятавшись в воронке,
Вдруг понял: жалость! Но черт с ней.
Ведь на родимой он сторонке
Бил влет залетных селезней.
И только бы в живых остаться,
Танк получить и сесть в него
Еще придется повстречаться —
А там посмотрим, кто кого!*

Часть V

Труженики тыла

*Польной горечью пахнуло
Родной, желанной, и теперь,
Как будто детство распахнуло
Давно закрывшуюся дверь,
И, дыбась, встала память детства*

Виденьем прожитых годов:
«земля – отцовское наследство» —
Гудит от цокота подков.
Святого детства вспомню время,
И сердце болью сдавит вдруг...
Смотрю – бежит босое племя
За лошадьми на дальний луг,
И вот уж слышу – по проселку
Телеги жалобно скрипят.
И вижу синюю футболку:
Ведь это я среди ребят.
С полей к гумну снопы мы возим,
Совсем почти как мужики,
Бороним, косим, сеем озимь,
Отцы – на фронте, братья тоже,
И к Сталинграду фрицы прут,
И похоронки нас тревожат.
И так тяжел крестьянский труд!
Но фронту надо, значит надо!
Все – для Победы! Цель ясна.
И были лучшей нам наградой
Для фронта центнеры зерна,
Зимой в школе, летом в поле,
Вертелся белкой в колесе.
Где поневоле, где по воле...
Ну точно так же, как и все.
Вот по морозу, хоть кровь из носу
Дрова на саночках тяну.
Длинна дорога, замерз немного

*В сугробах вьюжных чуть не тону,
Вот на покосах в рассветных росах
Пырей литовкой тупой бью,
И женицин вижу, я голос слышу:
«Вот подрасти бы воробью!»
Одно я знаю и понимаю,
Что там, на фронте, трудней всего.
Под Ленинградом могила брата,
А я воюю пока с травой.
Полно работы, и все до пота...
Остры заботы, как злой кинжал!
И пусть маленько был слаб в коленках.
Но день Победы я приближал.*

** * **

*Деревня нищала, деревня тощала,
Но были надежды полны и бабы и деды,
Что весть о Победе дойдет до родной стороны.
Старушки молились, подростки трудились,
Пока не погаснет заря.
На воздухе вольном, чем были довольны,
О голоде не говоря.
Овсяг и картошку – и то понемногу —
Глотали, давя тошноту.
Трудились, не ныли и даже забыли,*

*Про городки и лапту.
И слушали вместе по радио вести,
Когда дождь на улице лил:
Бои – непременно, успех – переменный,
Везде – равновесие сил...*

** * **

*Помню: от страха сжималась душа,
дыбились волосы,
Когда свирепый декабрь дышал
холодом жутким в глаза.
На печке бы русской в мороз лежать,
нос сунув за дверь едва.
Но надо в школу утром бежать
километра за два.
– Беги, – провозжает с порога мать,
– Когда бежишь – теплей,
Но как ни бежишь, начнет принимать
холодом до костей.
Туман – вплотную, ничего не видеть,
шуршит леденяще мгла.
А одежонка – лиха беда:
заплата к заплате легла.
Лицо в рукавички уткнув плотней,
оставишь глаза одни.*

*В тумане – луна, и бежишь под ней,
кляня морозные дни.*

*Болтается сумка через плечо,
колотится в левый бок.*

*Торчит из ичига сена клочок
сквозь лопнувший передок.*

*...Где-то на западе гремит война,
Гибнут отцы в огне.*

*А здесь, в Сибири, стоит тишина,
и стыдно становится мне.*

*Подумаешь, самую малость промерз.
На фронте в сто раз трудней!*

*И вот уже лютый мороз – не мороз,
и школы крыльцо родней.*

*Глядишь, ты в школе морозу назло,
доволен чуть – чуть собой...*

*Румяная печка держит тепло
за маленький подвиг твой.*

Часть VI

Строительство аэродрома. Год 1913

*Удобренье для полей – перегной навоза —
Мы возили. Тимофей, бригадир колхоза,*

Заявил под вечер нам: слушайте, ребята,
Расходитесь по домам, спать ложиться надо.
Завтра в пять утра вставать: важное задание...
И должны вы вот что знать: проявив сознание,
Нормы перевыполнять! И в таком все плане...
Хромоногий Тимофей соблюдал «диету»
В жизни каверзной своей побродил по свету
И поэтому был тощ да высок, верзила.
И на журавля похож, но шутил прेमило.
Тимофей. Конечно, знал много больше прочих.
Очень юмор уважал, к матюкам охочий...
Не гремел на небе гром, молнии не били.
– Будем мы аэродром строить. Уяснили?
– Строить? Мы? Аэродром?
Шутите, ли че ли?
– Строить! И быстрее, притом
На Повосисском поле.
– Для чего аэродром? Фронт далековато...
– Вам могу сказать о том, слушайте, ребята,
Из Америки на фронт двинут эскадрильи,
Ведь у них, конфетку в рои, во всем изобилье.
Заправляться будут здесь, привозным бензином...
Вот и выпала нам честь... Ну и все чин – чином.
Немудренная работа – землю на поле ровнять.
И лишь бы до седьмого пота хилым Чалкой управлять.
А в обед – такое чудо! Хлеба – а бе-елого-о! паек.
Белый хлеб! И здесь! Откуда? Нам, ребята, невдомек.
Как он пахнет! С коркой гладкой... Съесть? Такое – не
простить!

Спрятал я украдкой – маму с братом угостить.
На площадке многолюдной уверял всех инженер:
В жесткий срок вписаться трудно без принятия
жестких мер.
Мы трудились на площадке световой июньский день,
Кто с лопатой, кто с лошадкой – люди ближних
деревень.
Где-то брат на фронте носит в вещмешке паек «НЗ».
Здесь кусты на поле сносит дряхлый трактор «ЧТЗ».
Топорами, что звенели, плотники рубили дом.
И заделывали щели высохшим таежным мхом.
Получался дом отменным, наверху второй этаж.
Рядом с домом – две антенны, в стороне – большой
гараж.
А тем временем площадкой ездил взад – вперед каток,
Чтобы стала она гладкой, грунт бы в дождик не размок.
Мы еще площадку строим, но готова полоса,
Прилетели «кобры» строим – чудеса, ну чудеса!
Были флаги, транспаранты и трибуна на траве,
Шли на митинг лейтенанты с генералом во главе.
Первый секретарь райкома речь с трибуны говорил,
И с акцентом, так знакомым, всех за труд благодарил.
И с тех пор зимой и летом принимал аэродром
Эскадрильи. И не где – то слышен был моторов гром.
Мы гордились; вклад в Победу заложили. Молодцы!
Даст Бог – целыми приедут наши братья и отцы.

Часть VII

Илимчане

*Свойственна сибирякам сила и отвага.
Благодарна землякам и Москва и Прага,
Был на Волге суций ад днями и ночами,
защищали Сталинград наши илимчане.
Шли с гранатами в руке, шли сквозь смерть и горе.
Гибли в Курске, на дуге, и тонули в море.
В мерзлых северных краях, в суховеях Крыма
Отличились вы в боях, воины Илима.
Сколько их ушло, мужчин? Ведь район не мальй,
А погиб – то не один, тысячи, пожалуй.
Слезы – это не сироп, солонее малость...
Сколько вдов – то и сирот горевать осталось.
Может быть, они герои? Нет, не угадаете,
Вот с войны вернулись трое, и все – Погодаевы.
В срок третьем – Александр, в сорок пятом
(в апреле) Полинар.
Год спустя – Василий...
Да, война – такое зло – слезы кровью выжсала...
Повезло им, повезло, что на фронте выжили.
Деревня Погодаева оплакивала их:
Красивого Алаева, прокопьевских двоих:*

*И Якова Костенкова... здоровых, молодых,
Легли в могилы братские почти все Замаратские.
Хожу за деревенскими сараями,
Срываю паутинок тонких нить,
Иванами я брежу, Николаями,
Которым никогда здесь не ходить.
Они в «войну» играли на поскотине,
«Сражаясь», шли в атаку «рать на рать»,
Душой и сердцем чувствуя, что Родине
С фашистами придется воевать.
Потом они, солидно повзрослевшие
На нас, мальцов, глядели свысока.
Их руки, от работы огрубевшие.
Взводили сталь учебного курка.
Они еще робели возле девушек,
Но были стройны и высоки.
Под взглядами и бабушек и дедушек
Шагали на вечерки у реки.
...о как мне перечислить их фамилии,
Тонка моя для этого тетрадь!
Ушли и Алексеи и Василии
От извергов Отчизну защищать...
Хожу за деревенским
. сараями,
Срываю паутинок тонких нить,
Иванами я брежу, Николаями,
Которым никогда здесь не ходить.
Не поросло былъем бывшее, не поросло, не поросло.
В сердцах впечатано лихое, войны проклятой всеми, зло.*

*Пусть приходилось нелегко нам, мы шли вперед врагу
назло,*

и у высот по взрытым склонам друзей немало полегло.

Но поросло быльем бывшее и никогда не порастет,

*Святое братство фронтовое сквозь смерть
солдат вело вперед.*

Победы счастье удалое вернулось к нам в конце концов,

и поколение молодое гордится славою отцов.

Не поросло быльем бывшее, тверда сыновняя рука,

Победы Знамя боевое мы пронесли через века.

Погодаевские мужики

Не знаю, как в других деревнях, только в Погодаевой, находившейся рядом с райцентром (Нижеилимск), наши мужики попадали под более пристальное внимание районных представителей, особенно из «Осоавиахима», проводивших с нами занятия по разборке и сборке ручного пулемета, «одеванию» противогаза, заставлявших заучивать название ядовитых газов – фосген, дифосген, иприт, люизит – будь им неладно! Также проводились политзанятия, политбеседы. Это перед войной.

Мы, малышня, старались быть около, запоминая по возможности все, что говорилось и делалось взрослыми.

Нам нравилось носить на рубашке оборонные значки: БГ-ТО, ГТО, ЮВС, ВС, ПВХО, получить которые можно было только сдав зачеты, и поэтому мы с успехом уговаривали тех, кого надо, чтобы разрешили сдачу.

Не хотели мужики войны! Но чувствовали, что все идет к тому. Бывало, соберутся летним вечером на крылечке колхозной конторы, дымят самосадам, ведут неторопливые разговоры сначала о ближайших проблемах, потом о районных, областных и потом – о международных, тревожных, волнующих, таящих много опасностей.

Мы, подростки, тут как тут, ушки на макушке. Тревога передается и нам. Еще бы! Пала Польша, капитулировала

Франция... Фашизм победоносно шагал по Европе! – Мужики, как считаете, нападут на нас фрицы? – спрашивает кто-нибудь подрагивающим голосом.

– Не должны бы...

– Почему?

– У нас акт о ненападении.

– Акт, – еще не факт, – осторожничает другой. – Бумага!

Многое умалчивалось: в стране – репрессии, можно угодить туда, куда Макар телят гонял...

Покурят, поговорят мужики, пока председатель не скажет:

– Пора, товарищи-мужики, на боковую, завтра рано вставать!

Разойдутся мужики по домам, забудутся в коротком летнем мне, а успокоятся или нет – одному Богу известно...

Колхоз в Погодаевой назывался «Трактор». Ему выделялись большие кредиты, и колхозники построили типовые скотофермы, свинофермы, конюшни, конные двory, просторный, крытый тесом ток для обмолота зерновых. Купили трактор «ХТЗ», двенадцатисильный двигатель «Дизель», который безотказно служил много лет. Перед войной вырастили богатый урожай, получили на трудодни много хлеба, денег, накупили костюмов (а как до этого бедно одевались!), велосипедов, патефонов... Казалось бы, зажили? Но тут конфликт с белофиннами, суровая зима, нехватка продовольствия (это для тех, кто не работал в колхозе), очереди... Едва закончился белофинский конфликт – напали фашисты!

Вероломно нарушили пакт.

Не сразу уходили на фронт мужики, но вскоре в деревне их почти не осталось. Ждали своей очереди и те, чей возраст не вышел. Конечно, на душе кошки скребли: похоронки-то идут.

Если взять деревню с верхнего края, то получится, что во второй избе пострадали двое – отец Василий Жмуров (погиб на фронте) и сын Иннокентий (был убит в ФЗО).

В четвертом доме проживала семья Погодаева Василия Архиповича. У него на фронте погиб сын Яков, танкист. Второй сын Глеб был призван в мае 1945 года и служил в охране академика Янгеля в Днепропетровске, где и помер в чине майора.

В следующем доме в 1945 году был призван Ткаченко Николай Иванович, успевший поковать с японскими самураями. Ранен был в голову. Сейчас живет у дочери в Москве.

Рядом в доме жил гроза и добровольный воспитатель подростков чернобородый дедушка Филипп Черемных. У него на фронте погиб сын Борис, который оставил в нашей детской памяти самые благодарные воспоминания, потому что готовил нас к защите родины.

В доме Анисимова Ивана были малолетки, а сам он служил в милиции. Помнится потрясающий эпизод с возвращением с фронта Куклина, которого приплавляли на лодке в деревню две медсестры (так он был покалечен!).

У соседей на фронте не было никого, у Кудриных отец

был призван в армию, но находился пока в глубоком тылу.

У Ведерниковых погибли на фронте обе брата. Помню, как они пускали в небо «змеев» на тонкой нитке и высоко-высоко...

Запомнился такой эпизод. Сын Черемных Николая Дмитриевича был призван в армию. Война – в полном разгаре. Анатолий (сын) пошел в поле, к лугам, к лесу, везде останавливался подолгу, словно прощаясь навсегда с родными местами. Я случайно увидел его, интуитивно почувствовал, как он переживает, и у меня сжалось что-то внутри, стало тоскливо, не по себе.

За проулком к скотным дворам стоял дом на две половины, здесь жили два брата Погодаевых – Иван Иванович (умер на работе, чем-то отравившись) и Денис, который на фронте уцелел.

Сын Ивана был призван во время войны, после служил где-то в Ровно, дослужился до майора, сейчас, может быть, полковник. Это Александр.

Следующий дом большой, высокий, на две половины, принадлежал Василию Григорьевичу Погодаеву, который вернулся с фронта без единой царапины, но с множеством боевых наград. Когда мы, малышня, спрашивали его, за что награды, он скупно отвечал, что поднимал боевой дух солдат игрой на гармошке, а гармонист он был, как говорится, от Бога! В апреле 1944 года вернулся домой его сын Аполлинар, на солдатской гимнастерке – медаль «За отвагу», левая рука,

скрюченная и беспомощная, висела вдоль тела. Оказывает- ся, пуля перебила сухожилие выше локтя. С годами он все- таки разработал руку и стал отлично играть на гармошке.

Во второй половине дома жил Иван Григорьевич, который умудрился всю войну прослужить в Забайкалье. Третий брат Александр, живший отдельно от братьев, воевал под Ленин- градом, вернулся домой году в 1943-м, ранен был в левую руку.

Через дом жил высокий, стройный не по-стариковски, де- душка Игнатий Павлинович. Два его сына были на войне. Один вернулся по ранению домой, работал в школе физ- руком, второй, Владимир, отличился в боях на территории Латвии, где в одном из боев подбил шесть вражеских танков.

Через дом – вернулся домой офицер-интендант Замарат- ский Николай Трофимович. Конечно, была «закатана» гу- лянка, а в соседнем доме, где жил мой отец Замаратский Ин- нокентий Михайлович, не попавший на фронт по причине пожилого возраста, не вернулись с войны двое – это Замарат- ский Василий Иннокентьевич, который в сентябре 1941 года был призван в армию, а в октябре этого же года был ранен в живот под городом Загорском. лечился он в Красноярском госпитале, а после излечения попал на Волховский фронт, где и погиб. Второй брат Михаил был призван в армию в 1939 году. Служил в Совгавани, откуда попал на фронт, под город Калинин, и оттуда с боями прошел до города Магде- бурга, где и погиб 24 апреля 1945 г. был награжден двумя

медалями «За отвагу» и медаль «За боевые заслуги».

В соседнем доме проживал, внешне похожий на медведя, дед Матвей, у которого погибли на фронте два сына – Иван и Александр Замаратские. В поселке Старая Игирма живет внук деда Матвея, но он вряд ли помнит своего отца Ивана.

В доме Евгения Архиповича уцелели оба сына – Георгий служил на Тихом океане, там где-то служил и Геннадий, который, возможно, участвовал в войне с Японией, так как демобилизовался из Порт – Артура.

В доме напротив жили лесник Петухов Никита и его сын Яков. Я их хорошо помню, особенно отца, который предлагал нам, ребятам, шкурить в лесу пеньки на лесосеках, собирать в кучи хворост, а за труды выдавал деньги на детские кинофильмы. Сын был очень похож на отца и внешне, и характером. Ушли на фронт они почти одновременно и вскоре погибли. Рядом находился новый, как говорят, с иголки, дом Погодаева Никифора (отчество не помню). Это был высокий и плотный старик с белыми (нет, не седыми) волосами и внушительной величины кулаками. Мы любили слушать его рассказы о том, как он копьем бросал через плечо турецких янычар. С фронта вернулся после войны его внук Николай, внешне точная копия деда Никифора, только намного моложе, но с такими же кулаками. Николай имел на лице явно выраженные последствия войны. Он пять раз горел в танках и все-таки уцелел, только долго еще огрубелые, резкие морщины не сходили с его лица.

Второй брат (внук деда Никифора) был на вид самым обыкновенным, среднего роста, совсем не богатырской натуры, и ушел он в армию в мае 1945 года. Попал в конные войска и, как результат, в охрану академика Янгеля в Днепрпетровске.

Рядом с домом Никифора жил колхозный животновод Георгий Аполлинарьевич Замаратский, который погиб на фронте: умер от ран в госпитале, а его брат Константин прошел всю войну (он был кадровым военным), вернулся на побывку в родную деревню в чине майора. Хвалился, что, будучи командиром партизанского отряда, наносил фашистам крупные потери, поэтому они назначили за его, Константина, голову солидное денежное вознаграждение.

Теперь стоит вернуться на продолжение начальной улицы. За домом Погодаева Евгения Архиповича стоял дом, почти постоянно пустующий (в нем проживали эвакуированные чуваша, люди к деревне непривычные, чужие, поэтому не в счет). Но в следующей избе жил Перетолчин Дмитрий, и он и его сын служили в армии, только на фронте не были. Сын остался в соседнем районе, отец в колхоз не пошел, а устроился конюхом в райвоенкомат. Но Погодаевы Василий Григорьевич и его сын Аполлинар остались работать в колхозе. На краю улочки, замыкая ее, стоял дом Семена Прокопьева, женившегося на очень красивой илимчанке. В войну он погиб. Я, наверное, никогда не забуду, как он, окончив дневную работу в колхозе, шел по улице, помахивая от

избытка чудесного настроения и здоровья плетеным бичом, висевшим на запястье правой руки. Мне нравилось, с каким достоинством он шел по деревне, я чувствовал удовлетворение, глядя на плотную, среднего роста фигуру, и мне хотелось быть похожим на него.

Через стенку в этой избе жили Ждановы. Отец, инвалид Первой мировой войны, отравленный немецкими газами, как правило, сидел на маленькой табуреточке и чинил обувь, чем и подрабатывал на поддержание скудного существования. Мать, энергичная, верткая женщина, работала телятницей в колхозе, двое сыновей вернулись живыми с фронта, но в деревне не остались – уехали в город. Дома остался младший, Иннокентий (с ним я долго дружил).

За проулком светился новыми бревнами стен дом Солодкова Михаила, жизнелюба и комика, любителя посмешишь людей. Его война коснулась мало, но рядом, в плохонькой избушке жил Слободчиков Тимофей, обремененный многочисленным семейством. Погиб Тимофей на фронте в начале войны. Пошли работать в колхоз старшая дочь и малолеток Михаил, который с успехом заменял мужиков.

Вот и богатая усадьба Погодаева Прокопия, четыре сына которого воевали на фронте, а пятый еще подрастал. Это были рослые (в отца) крепкие парни, двое из которых погибли на фронте – Василий и Яков, а Николай, авиамеханик, уцелел, вернулся домой. Уцелел и Иван (финбанковский работник).

В последнем, замыкающем домике жил Анкудинов Василий Иннокентьевич, отдавший свою жизнь за Родину на фронте...

Малая моя родина с большой буквы ушла на дно Усть – Илимского водохранилища, «утонула» и деревня Погодаева, простоявшая на берегу Илима больше трехсот пятидесяти лет. А память о живших в ней вечна. Ибо в ней жили патриоты, настоящие защитники России.

Отец

Сейчас, когда о партии коммунистов в народе так много противоречивых суждений, хочется поделиться воспоминаниями о своем отце-коммунисте, которые умер в 1967 году и шестидесятилетнем возрасте, явно не прожив положенного срока.

Что я знаю об отце? Многое происходило на моих глазах, многое слышал от матери, от окружающих. Постараюсь быть предельно честным, правдивым, искренним не столько по отношению к отцу, сколько к вам, читатели, жаждущие связать прошлое с настоящим.

Отец мой, Замаратский Иннокентий Михайлович, имел высокий рост, столько характерный чуть ли не для всех мужиков того времени: был довольно строен, хотя с возрастом стал слегка сутулиться, был привлекателен лицом с выразительными серыми глазами: нос с горбинкой, красиво очерченные губы небольшого рта, русые жесткие волосы, зачесанные набок, – все это придавало ему мужественный вид. Образование: три класса высшего начального училища (что-то вроде теперешней семилетки) – по тем временам немалое.

Когда отец вступил в партию, я точно не знаю, только ко времени появления на Илимe коммун был коммунистом, о чем свидетельствует такой эпизод: в родном пятистенном доме, будучи учеником второго или третьего класса, я однажды

обратил внимание на странную «амбразуру» в стене, очень напоминающую окно для выдачи пищи райцентровской столовой, куда мы, ученики, любили забегать после уроков, чтобы надуваться вкусными запахами пищи. «Амбразура» была заделана, похоже, теми же коротышами бревен, которые когда-то из нее выпилили, и пазы замазаны глиной.

– Мам, что это?

– А это твой отец-простофиля когда-то новый дом коммунарам под столовку отдал... От простофиля дак простофиля!

Мне стало очень интересно: как это коммунарам под столовку, и я стал упрашивать мать рассказать, как это было.

– Че тут рассказывать, – начала неграмотная мать, – ондал и ондал. Пришли мужики и спрашивают: «Ты, Иннокентий Михайлович, как сам являешься коммунистом, так и поступать должен как коммунист, то есть жисть положить для народа...»

– Не пойму, мужики, куда клоните? – спросил отец.

– Че тут понимать? Решили мы коммуну в деревне организовать, да и сам ты за нее тоже горячо агитировал, а в коммуне столовая должна быть...

– Так разве мало в деревне пустых домов? – спросил отец.

– Дома, конечно, есть, но старые, грязные, с клопами, с тараканами. Разве гоже коммунарам питаться в такой столовой? А у тебя дом новый, так сказать, с иголки... Приятственно для народу...

– Ну и что? – Мне стало интересно: дом, коммуна, столовая...

– А ниче, – откусывая нитку и беря для штопки другую одежду, ответила мать. Съели коммунары всю живность, и коммуна распалась... Цельный месяц грязь из дому выворачивала опосля. Накопили за год-то грязищи...

Двойственное чувство бескорыстие отца, некоторая романтика того времени, с другой – жалко было, что новый дом, на строительство которого было потрачено так много и трудов, и денег, был отдан чуть ли не на поругание: все съели и рассыпались! Дом загрязнили...

– Мы с твоим отцом-то в город Киренск ездили, – продолжала мать, – чтобы деньги на дом заработать. Годик тогда Васютке-то исполнился, первенцу нашему, значить, в четырнадцатом годе дело было. На заводе купца Моргана отец кожи мял, а я холостяков обстрипывала да обстирывала; обеда им готовила... Платили мне деньгами. Отец тогда с политссыльными связался (а их много было в Киренске), вечерами все в карты с ними играл, ну и наслушался, все о каких-то партиях говорил...

М не подумалось: не тогда ли отец в партию вступил?

– Вернулись мы домой, когда перевероты пошли, смутные года настали. Переждали, дом строить стали...

Помню такой эпизод. Бабушка, высокая, сухопарая, строгая старуха в отглаженных вальком черных и коричневых одеждах, по утрам долго и усердно молилась в угол на ико-

ну Георгия Победоносца, поражавшего тонким, как спица, копьем огнедышащего Змея. А в стране шли полным ходом репрессии, один за одним исчезали мужики, уведенные энкавэдэшниками. Отец во избежание неприятностей в отсутствие бабушки снял икону и сжег ее в печке. Бабушка, заметив пропажу, ругала отца моего «анчихристом» и «сатаной». Этого ей показалось мало, и она подучила внука, моего пятилетнего братца, выучить и продекламировать отцу строки явно не революционного содержания. Отец оттрепал юного «артиста», стоящего для пушного эффекта на скамье, за ухо, а матери, нашей бабушке, сказал:

– Ты что, хочешь, чтобы меня посадили?

Пристально я стал присматриваться к отцу лет с двенадцати. Мне нравилось, что он все время находился на руководящих должностях, но не нравилось, что они, эти должности, много раз менялись.

Был он и председателем колхоза, и завсберкассой, и управляющим госбанка, и завстоловой, и снова председателем колхоза, и заврайзо, и руководителем каких-то курсов, и кредитным инспектором.

– Че ты, как последний простофиля, – ворчала мать, – соглашаешься на все? Куда ни ткнут, везде затычка. Вон смотри, сосед, бухгалтер, не пошел заведешшим в «Заготзерно», и ниче ему не исделали, не исключили из партии. А ты все боишься...

– Молчи, мать, много ты понимаешь! Не боюсь я, а надо!

Надо!

– Кому надо? – не унималась мать.

– Народу надо...

Я гордился, что отец отдает себя народу. Нас с первого класса приучали к мысли, что жить надо не для себя, а для других, но мне не нравилось, что отец так легко соглашается с переводами и даже переездами с места на место, из деревни и даже в другой район за сотни километров.

Ареста отцу избежать не удалось. Какой-то не в меру ретивый доносчик сочинил клевету, что отец учился в Киренске на священника и агитировал против советской власти. Увезли отца в Иркутск, следователь попался хороший, сделал запрос в Киренск, сведения в доносе оказались настолько лживыми, что отца тут же освободили, восстановили в партии и на работе. Повезло!

Отец не служил в царской армии, являясь единственным кормильцем в семье, на его иждивении были две младшие сестры. Его отец скончался от прободной язвы, когда моему отцу было двенадцать лет, и все заботы по хозяйству: пахать, боронить, сеять, сено косить, хлеб убирать, заготавливать дрова – все это легко на неокрепшие плечи подростка. Не был он и партизанах, оказавшись в это время в Киренске на заработках. Во время войны с гитлеровскими захватчиками по причине пятидесятилетнего возраста в армию не был призван, но военные сборы прошел в конце 1942 года, когда фашисты штурмовали Сталинград.

Сборы проходили в моей родной деревне Погодаевой. Призывники жили на двухэтажных нарах в помещении бывшей школы. Обучение строевой подготовке, ружейным приемам (деревянные винтовки) приводилось на льду реки. Здесь же находилась полоса препятствий, и я с жалостью смотрел, как неуклюже отец пытается преодолеть двухметровой вышины забор из плах, как ООН мешком висит на турнике. Фашистов под Сталинградом разгромили, и отец в числе других «великовозрастных» был оставлен дома, все силы отдавал работе.

Я не помню, как отец отнесся к похоронке на первенца Василия, погибшего в боях под Ленинградом в конце 1942-го или в начале 1943 года, но хорошо помню, как в июне 1945 года почернел лицом, увидев, что переплывшая реку почтальонша застыла в нерешительности у лодки. Отец взглянул на нее и все понял:

– Ну иди, чего мнешься, – глухо сказал он почтальонш, – вручай, куда деваться... И стал дрожащими руками свертывать сигарку.

Михаила мы ждали домой, получив своем недавно письмо из-под Берлина. И вот на тебе похоронка: погиб под Магдебургом, не дожив пятнадцати суток до Победы. А ведь шел от Калинина...

Тяжело было смотреть на сразу сгорбившегося отца.

В 1944 году отец чуть не погиб. Трактористка засадила колесный трактор ХТЗ во влажную почву. Отец, будучи пред-

седателем колхоза «Трактор», отвечал за сроки проведения посевной перед райкомом партии, да и без этой ответственности он поступил бы так, как поступил. Сняв с заплота тяжеленную балку, принес ее за полкилометра, поднатужился, подсунув под задний мост колесухи, и... прободная язва! В условиях тогдашней районной медицины – верная скорая гибель. К счастью, подвернулся самолет до Красноярска, и отцы увезли туда. Вернулся он примерно через месяц, черный, исхудалый, бессильный. Пошел работать кредитным инспектором в госбанк, где и доработал до пенсии, но не успокоился на этом, продолжая активную партийную деятельность.

Помнится такой эпизод. Шел январь или февраль 1951 года. Колхозы укрупнили, и парторганизацию основали за четыре километра от нашей деревни, в Игнатьевой.

Отец собрался на партийное собрание туда. Мать принялась его отговаривать, мол, и мороз на улице, и ноги у тебя худые (ноги у отца сильно болели, ходил, опираясь на клюшку), но отец не слушал ее. Ушел. Вскоре поднялась пурга. Ледяной ветер едва не сбивал с ног.

Наступила полночь. Темень, жуткие завывания вьюги. Отца нет и нет. Мать стала переживать, посылать меня встречать отца: ведь надо было идти через поле три километра, а там ни деревца. Легко заблудиться, сбиться с пути, увязнуть в снегу. Честно говоря, не хотелось и нос высовывать на улицу от теплой печки, но мать была настойчива, и я стал собираться, в это время хлопнула входная дверь, и отец, за-

куржавевший, с обледенелыми бровями, ввалился в дом. Мы бросились его раздевать, мыть стала растапливать железную печурку, чтобы согреть чай. Ворчала:

– Когда, старый, за ум возьмешься?

– Молчи, мать, – еле шевеля губами, сказал отец, – надо!

Вспоминается такой, очень характерный для отца эпизод. Год 1946-й. Колхоз «Трактор» на грани полного упадка. Трудно с тяглом, а надо приступать к весновспашке. Отец от зари до зари мотается по полям. Домой заглядывает, чтобы торопливо проглотить скудный завтрак, или не менее скудный обед, «забывая» иногда про ужин. Мыть пилит отца, ей жалко нас, малолеток, мы копаем лопатами огород в тринадцать соток. Норма полторы-две сотки на брата.

– Замантулил ребятишек... Какой ты председатель? Не можешь в колхозе лошаденку взять, чтобы огород вспахать...

– Не могу, мать, – вяло отмахивается отец, – что люди скажут? Ведь они с меня пример берут...

– Пример берут! – всплескивает руками мать. – Да ты последние штаны донашиваешь. В чем ходить-то будешь?

– Ничего, мать, – бодрится отец, – из мешка сошьем...

Таков был отец-коммунист везде и во всем. Меня поражала вера отца в будущее, я видел, каким светом загорались его глаза, когда он говорил с людьми о коммунистическом обществе. Эта вера заражала, вдохновляла в очень трудные военные и послевоенные годы, когда казалось, что нет вы-

хода из бедности, порой нищеты деревенской жизни. Вызывало недоумение то обстоятельство, что после войны жизнь стала еще хуже, чем во время войны. Мы не могли знать, что Сталин дал задание сделать атомную бомбу, а, по словами академика Курчатова, ее изготовление стоило в материальном отношении Великих Отечественных войны. Отец тоже не знал об этом, но верил, свято верил, что все наладится в ближайшее время. Так оно и случилось. Вскоре были отменены карточки, проведена денежная реформа, в магазинах появились кое-какие товары первой необходимости. Народ посветлел лицом, приободрился. Отец после тяжелой операции работал кредитным инспектором в банке, но активной партийной работы на общественных началах не прерывал ни на минуту, стараясь принести посильную помощь в улучшении жизни. Но сказать, что в те годы была очень высокой личной ответственность за использованием государственной техники в корыстных целях. Так был снят с поста председателя райисполкома некто Владимиров за то, что возчик, положенный ему по штату, несколько раз съездил на казенной, как тогда говорили, лошади за сеном, мукой и дровами лично для председателя. Очень строгие наказания были установлены и за другие прегрешения. Моральный облик коммуниста ставился на самую высшую ступень, а его идейный уровень определялся по степени бескорыстия. Попробуем применить подобные критерии в наши дни. Не уверен, что глубина убеждений многих нормам. Буду рад, если оши-

баюсь.

Мне очень нравился лозунг: «Партия существует для народа, в служении ему видит смысл своей деятельности!». Почему этот лозунг вдруг потерял актуальность и привлекательность? На мой взгляд, на этот вопрос должны ответить все коммунисты. И те, кто рядовые, и те, кто находится в такой называемом партаппарате. Складывается такое мнение, что руководящие товарищи однажды поняли, что достичь всеобщего благоденствия не удастся, и поэтому не позаботиться ли в первую очередь о собственном благополучии. Пусть так и думали не все, но, как говорят, любой пример заразителен, и постепенно забота о благосостоянии народа превратилась в заботу о себе при молчаливом согласии рядовых членов партии, находящихся словно в оцепенении от прошлых репрессий и опасаящихся более совершенных изощренных способов реагирования на малейшую критику. Но ведь народ-то все видит, а к начальству приглядывается с особенной зоркостью. Народ не обманешь, и однажды глужое недовольство выливается открыто.

Слышу призывы защищать партию, поднимать ее авторитет. Хорошие призывы, только кто и как это должен делать? О каком авторитете можно говорить, если партаппарат не отказывается от повышения зарплаты, хотя результаты его деятельности равны едва ли не нулю в данное время? О каком авторитете можно говорить, если партаппарат не отказывается от привилегий, если не хочет жить так, как живет весь

народ, если не не хочет делить с ним невзгоды, лишения и все остальное, что переносит простой люд.

Я вспоминаю своего отца и начинаю понимать, каким должен быть член партии – от рядового до руководителя. Как мне хочется, чтобы это поняли и другие, хотя я могу выглядеть несколько наивным в своих притязаниях на новизну уверенней.

Учителя

Конечно, лучше всего писать воспоминания по дневниковым записям, только кто в наши, детством переполненные дни, с играми, разного рода забавами и восторгами, мог заняться «ведением» дневников? Зачем это деревенским подросткам, имеющими весьма приблизительное представление о дневниках? Остается надежда на память – неписанный дневник тех далеких времен, насыщенных событиями, явлениями, окружающими людьми на фоне волнующих родных пейзажей.

Мне хотелось учиться в школе, может быть потому, что перед глазами постоянно маячила старшая сестра, которая училась в старших классах и часто с подружкой делала уроки дома, не замечая того, что я с жадностью запоминал все, что она говорила. Пытался научиться читать, писать и к семилетнему возрасту овладел этим успешно. В этом же возрасте заявился в районную библиотеку и по примеру взрослых попросил записать меня читателем.

– Да умеешь ли ты читать-то? – усомнилась в моих способностях библиотекаря.

– Умею, уверенно заявил я.

– Ну коли умеешь – на тебе «Курочку Рябу».

Я взял книжицу, вышел на крылечко, сел, прочитал ее – и снова в библиотеку.

– Прочитал, – сказал я, – дайте еще!

– Ну расскажи едва ли не слово в слово.

– Хорошо, – удивилась библиотечка, – возьми вот «Четыре желания».

Я взял, вышел на крылечко и тут же «проглотил» «Четыре желания». У меня появилось «пятое желание прочитать «взрослую», толстую книгу: что мелочиться!

– Возьми вот «Остров сокровищ».

Это было то самое! Домой я летел, как на крыльях. Еще бы! Я читатель!

Первого сентября пошел со сверстниками в школу красивую, светлую, высокую, украшенную по фасаду резьбой.

Находилась она в райцентре за рекой. Пришел, обмирая от волнения: наконец-то буду учиться в школе, но не тут-то было! В переполненном до отказа классе толстая, некрасивая учительница сделала перекличку. Меня не оказалось. На перемене, разобиженный, чуть ли не в слезах, подошел к ней и спросил, почему меня нет в списке. Поднялись в учительскую на втором этаже, подошли к директору, – как помню, мужчине выше среднего роста, с голубыми крупными, навыкат, глазами.

– Тебе, мальчик, надо приходиться в школу на будущий год, потому что ты родился (он заглянул в бумаги) в ноябре месяце, а мы принимаем только тех, кто родился до первого сентября.

Я стал упрашивать его со слезами.

– Не могу, мальчик, классы переполнены.

Это была моя первая встреча с невезением.

На следующий год меня приняли в школу. Сидел я за одной партой с девочкой. С удовольствием, с любовью смотрел на молодую стройную учительницу в белой кофточке, в черной юбке и в туфлях на высоких каблуках. Звали ее Клавдия Ивановна. Время не в силах вытравить из памяти ее образ!

Нравилась мне и школа. Высокие на удивление потолки, просторные коридоры, лестница, ведущая на второй этаж; светлые классы с большими окнами, парты с откидными крышками; во дворе ряд спортивных сооружений и странный запах какой-то невысокий, загустелой за лето, травы.

Через год из-за переполненности классов открыли школу у нас в деревне в большом шестистенном доме бывшего богатыря. Классы спаренные: первый и третий, второй и четвертый, два учителя мужчина и женщина. К сожалению, учителя часто менялись, поэтому не удавалось запомнить некоторых. Остался в памяти один, потому что хромал на правую (или левую) ногу, имел голубые, навывкат глаза (не тот ли самый, который 2 года назад не принял меня в школу?). Был он чуть выше среднего роста и плотный, крепкий, очень любил охоту и брал меня и моего друга весной охотиться ночью ну уток, которые охотно на манок, плюхаясь в лужи возле леса, где была наша засада. Звали его Вениамин Иванович.

В четвертом классе некоторое время вела уроки стройная учительница с глазами, погруженными в глубокую тень,

этим она очень походила на портрет героя Гражданской войны Лазо из учебника истории.

В 1941 году я перешел в пятый класс, то есть в среднюю школу райцентра.

Началась война. Ушли на фронт учителя. Я еще не освоился в средней школе, поэтому не могу точно назвать ушедших, за исключением Агапова, который был директором.

Вели уроки Петр Михайлович Любимов, яркий представитель дореволюционной когорты учителей. Он ходил в неизменном черном костюме, с «бабочкой» вместо галстука на белоснежной рубашке, обшлага которой выступали ровно на два сантиметра из-под рукавов пиджака. Вел он зоологию. Едва в коридоре раздавался звонок на урок, выходил Петр Михайлович из учительской, степенно, неторопливо проходило по коридору, заходил в класс, привычно раскладывал на кафедре тетради, книги, раскрывал классный журнал, делал переключку (не всегда), доставал из нагрудного кармашка серебряные на серебряной цепочке часы, открывал крышку, клал часы на место. Закончив опрос пройденного материала, объяснял новый, закреплял его, ставил оценки, закрывал журнал, выдворял часы в кармашке, и раздавался звонок с урока. Уходил учитель, так ни разу не улыбнувшись, чем повергал меня в немое обожание его.

Было странно видеть его играющими на сцене РДК роли персонажей Островского; впрочем, он и там не улыбался. Жил он в скромном домике около реки. За высоким, плот-

ным заплотом красовались выше крыши тополя – явление в селе единичное. Мы с братцем решили вырастить тополя под окнами нашего дома. Соорудили «садик», как у нас называли палисадники. Знали, что тополя можно вырастить из остростков-веточек, только где их взять? У строгого учителя просить стеснялись, решили украсть. Ну подумаешь, стал на скамеечку у заплота, отломил веточку-две...

Не имея навыков воровства, попались мы с братцем с поличным, потому что не догадались заглянуть в проулок, по которому ходил домой Петр Михайлович; вскочили на скамейку, стали ломать веточки, и раздался строгий голос: «Это что такое творится?». покрасневшие от стыда, стояли мы с виноватым видом перед грозным учителем. Выручила нас проходящая мимо тетка Александра Николаевна, женщина из нашей деревни, неграмотная, но бойкая, умная, находчивая.

– Вы уж, Петр Михайлович, – попросила она, – не ругайте их сильно, они задумали посадить тополя у своего дома, вот и решились на воровство...

– Хорошее дело, – смягчился учитель и собственными руками отломил несколько веточек, объяснил, как их посадить, и пожелал удачи.

Кстати, тополя под нашими окнами взялись хорошо, и вскоре у нас появились последователи – подражатели...

Вот примерно все, что я могу написать об учителе зоологии Петре Михайловиче Любимове как представителе подлинных интеллигентов, не только среди учительских слоев.

Разумеется, это мизер, крохи из того, что можно было бы о нем написать, имея дневниковые записи. Еще хочется сказать, что все написанное – это моя память о нем, кто-то знает и больше и шире, подробнее и ярче.

В сентябре 1941 года среднюю школу снимали для помощи колхозу, расположенному в нашей деревне, копали картошку три дня. Вернувшись в школу, увидели в классе молодую, симпатичную, веселую учительницу, которая вдохновенно и взволнованно объявила, что будет вести у нас русский язык и литературу и еще будет классным руководителем, но проработала она в нашем классе недолго. Это была Мария Ивановна Приходько. (Она выпускница, должно быть, пединститута). Не то переехала куда, не то случилось нечто другое, помню ее, талантливо исполняющую на сцене РДК роль в пьесе Островского...

Хорошо запомнилась красивая, слегка подпудренная и подрумяненная учительница ботаники Зорина Александра Васильевна, которая, как и Петр Михайлович, вела уроки строго по методике, правда, могла и улыбаться иногда.

Хочется сказать несколько слов об учительнице математики Анне Васильевне Куклиной, жене Василия Гавриловича. Она была невысокого роста, вежливая и скромная.

Не помню точно, не то в конце октября, не то в начале ноября в класс не вошел, ворвался, учитель с пышной светлой бородой, с волнистыми густыми волосами. Он был очень образован, вдохновлен, подвижен.

– Звать меня – Калошин Павел Нестерович, – представился он, – буду вести у вас уроки географии.

Казался чуть-чуть несоборанным, не в меру энергичным. Как удалось позже узнать, его в 1938 году в августе прямо на учительской конференции арестовали и увезли в Иркутск, где подвергли невыносимым пыткам, «выбивая» «правду» о контрреволюционной деятельности. Конечно, как стало известно из его мемуарных записей, довольно честных, правдивых и подробных, грешники за ним водились, очевидно, как и за всеми, кто попадал в хаос событий 1–20 годов, когда всем хотелось выжить, уцелеть. Попал ли ты в партизаны, или был председателем первым советских органов, или был мобилизован в колчаковские войска. После колчаковщины мобилизовали его для подавления «кулацкого восстания» по тулунскому тракту, он «заблудился» в тайге и вышел оттуда, когда восстание было подавлено. Нашлись свидетели его «хитрости», последовал донос и арест.

Павел Нестерович пишет в мемуарах, каким пыткам, издевательствам и побоям в тюрьме подвергался, но сумел опровергнуть все обвинения в свой адрес, и был отпущен на свободу. Вскоре он оказался в Нижнеилимске и стал работать в школе, страстно влюбленный в жизнь.

Как-то после уроков он собрал нас, юных краеведов, в кабинете завуча. Показал самодельный, из грубой оберточной бумаги «альбом» и спросил, кто бы мог нарисовать обложку. Ребята дружно указали на меня. Шел второй год войны.

Разумеется, ни красок, ни кистей не было ни у меня, ни в продаже. У Павла Нестеровича тоже ничего не было, кроме страстного желания приучить нас к изучению родного края малой и милой родины.

Взялся я за работу, надеясь на свою изобретательную натуру: еще бы, нужда научит. На обложке нарисовал вид из окна кухни: за огородами виднелось заснеженное поле, за ним далекие избышки Большой (название) деревни, слева хребет, справа опушка погодаевского бора. На горизонте – ачинская сопка и Шальновский хребет. Бумага обложки серая, поэтому снег я покрасил известью, благо ее было в изобилии. Небо покрыл той же известью, подкрашенной брусничным соком. Сопки и хребет подмалевал сажей с известью, ближний хребет и погодаевский бор – сажей.

Надо было видеть, с каким восторгом хвалил Павел Нестерович мой труд. Мне даже неудобно стало от его дифирамбов. Это меня окрылило, приподняло в своих глазах и в глазах учеников. К следующему занятию кружка я принес... стихотворение:

*Есть на покосе кедр могучий,
Хвоя зеленая на нем.
Под ним течет Тушама ручей,
С него частенько бьют.*

И опять Павел Нестерович своими восторгами заставил меня покраснеть, казалось, до пяток. Смущало то, что в сти-

хах было много неправды: во-первых, кедр является ориентиром межи между колхозными покосами, и шишек на нем почему – то не бывало; во-вторых, Тушама не ручей, а речка, я боялся, что ребята станут меня «разоблачать»; все обошлось как нельзя лучше.

После Нового года Павел Нестерович решил поставить на школьной сцене спектакль «Мороз Красный нос» по поэме Некрасова. Каким-то образом он достал два тюка оберточной серой и толстой бумаги. Ребята и девочки склеили большие «полотна». Я написал на них заснеженный лес, применяя сажу, глину и опять известь. Среди деревьев стояла запряженная в сани понурая лошадь...

Спектакль прошел с успехом, его хотели поставить на сцене районного Дома культуры.

Сам же Павел Нестерович одевался скромно, мог прийти в школу в кирзовых сапогах, испачканных коровьим навозом, в помятом пиджаке, в неглаженных брюках. Мы, уже привыкшие к лишениям военного времени, и не ставили это в вину учителю.

На уроках он был по-прежнему энергичен и возбужден, любил и поворчать, если замечал что-то неладное, но мог и проявить завидное внимание к огорченному чем-то ученику. Мог и «двойку» поставить в журнал. Меня постигла такая немилость, когда я при ответе перепутал изобаты и изобары.

«Двойка» обескуражила, и я, вырвав из учебника лист под обложкой, нарисовал шарж на учителя с большим сход-

ством. Пустил по рядам и со страхом слушал, как смех одолевает ребят. Конечно, Павел Нестерович завладел шаржем, тщательно осмотрел его и... похвалил меня:

– Ты молодец, Замаратский, здорово получилось. Позволь взять рисунок на память.

Мог ли я отказать?

Меня всегда поражала его неукротимая энергия и скорость. Едва влетев в класс, он командовал:

– Замаратский, к доске!

Еще один эпизод. Иван Павлович, учитель математики (рассказ о нем впереди) заболел, и Павел Нестерович стал заменять его. Он называл страницу, номер задачи и предлагал:

– Кто первый решит, получит «пять».

В классе учился Леонид Белобородов, математик по природе (если б война быть ему профессором, но... увы). Он через две-три минуты тянет вверх руку.

– Что, Белобородов?

– Я решил.

– Ставлю «пять». Решай следующую...

Ленька мог бы получить сто «пятерок». Выздоровел Иван Павлович, пришел на урок, объяснил новый материал, дал номер задачи, а Ленька тянет руку вверх.

– Что, Леонид?

– Я решил.

– Так быстро?

– А нас Павел Нестерович научил: кто первый решит, получит «пять».

– Торопиться блох ловить, – урезонил его Иван Павлович.

Павел Нестерович играл в спектаклях во время войны, когда сборы от спектаклей шли в фонд обороны, и после войны, к сожалению, из седьмого класса я был вынужден пойти работать в качестве монтера на радиоузел, потом был призван в армию, а после службы поступил в Иркутское художественное училище. Собираясь уехать домой на каникулы, пришел на пристань, чтобы купить билет на пароход.

На берегу увидел группу учеников и, удивительно, во главе их Павла Нестеровича, который, узнав меня, вдруг «воспылал» вдохновением, неподдельным, казалось, вечным.

– Ребята, – начал он, как всегда, приподнято, – знаете, кто это?

Ребята молча уставились на меня, а Павел Нестерович давай меня нахваливать, да так, что мне стало не по себе.

– А это, – продолжал Павел Нестерович, – мой бывший ученик, художник и поэт. Вот что он написал, когда учился в шестом классе, – и продекламировал мой «шедевр» о кедре на речке Тушама.

Я был изумлен, поражен его памятью. Он рассказал мне, что работает в школе города Усолье и привез учеников на экскурсию в Иркутск, посмотреть город, посетить музеи, исторические места, «подышать» воздухом прошлого.

Потом стал спрашивать меня о Нижнеилимске и его

жителях, о том, какие события случились там в последние годы.

Я был обескуражен, не мог ответить почти ни на один вопрос, мысленно кляня себя за невнимательность отношение к илимчанам, людям, в основном спокойным, лишенным сентиментальности или тщательно скрывающим ее за суровой илимской действительностью. Конечно, не все, но я, видимо, представлял экземпляр, который не хотел знать больше того, что знал. Я любил природу Илима, его мягкую, незатейливую красоту, обожал, пытался рисовать ее пейзажи, писал о ней стихи, изредка «разряжаясь» стихами о людях, вот и о Павле Нестеровиче написал.

Учитель

*Как в преддверие рая,
В класс притихший влетал,
На ходу открывая
Классный журнал.*

*И ворчливый немного
(Указка в руке)
Вызывал от порога:
Замаратский, к доске.
Нарисуй-ка на память
Байкальский хребет,*

*А Оглоблина Таня,
Расскажи про Тибет.*

*Кругоплечий и резвый,
Русый цвет бороды,
Взгляд и честный и трезвый —
Родниковой воды*

*Выше среднего роста,
В школу страстно влюблен,
Задушевно и просто
Вел себя с нами он
Был и строгим и чутким,
Спросит вдруг, между дел:
У? Печален, Васютка?
Может быть, заболел?*

*Был ли он образцовым
Всегда и везде?
Но стоит образом он
Благородства в труде.*

*И любим беспредельно,
Не забудется, нет,
Удивительно цельный
Педагога портрет.*

К сожалению, о дальнейшей судьбе Павла Нестеровича я знаю понаслышке и немного, потому что из седьмого класса

ушел на работу монтером радиоузла, где до призыва в армию работал мой брат Михаил, и меня уговорили, упростили на его место.

Во время войны в районном Доме культуры, повторяю, ставились спектакли, сбор от которых поступал в Фонд обороны. Конечно, большинство «артистов» – это учителя, и среди них, конечно, Павел Нестерович.

Вскоре я ушел в армию, и Павел Нестерович исчез из поля моего внимания, изредка встречал я о нем заметки в газете «Восточно – Сибирская правда», где помещались его фотографии и он был титулован «патриархом» учительских династий. Последний раз я его видел перед затоплением долины Илима: он приехал посмотреть еще раз на родину. Это был крепкий человек, совсем непохожий на старика, хотя возраст его переваливал за девяносто лет. Меня поразили ряд белых ровных зубов в его рту, окруженном шикарной белой бородой. Был одет по-походному: спортивная куртка, кирзовые сапоги и бодрость! Это все, что я могу написать о самоотверженном, преданном своему призванию и делу учителя...

Да, вспоминается эпизод. На уроке Павел Нестерович искренне повинулся, что забыл дома прибор, сделанный им, при помощи которого можно наглядно демонстрировать горообразование. Нашел выход: привлек наше внимание к рукаву своего пиджака и стал сжимать рукав пальцами, под которыми зримо, рельефно образовывались складки, очень напоминающие земные неровности.

Разве такое забудешь?

Еще он любил прибегать к разного рода уловкам, как запоминать названия, даты, события. И мы запоминали все легко и надолго, на всю жизнь.

Очень он любил свой предмет и слова, относящиеся к нему. С наслаждением, явно слышимым в его голосе, произносил: «Баб-эль-Мандебский пролив» (или залив), «Килиманджаро», «Маточкин шар», «пролив Дежнева», «Ключевская сопка» и т. д.

Да, его уроки носили явно эмоциональный характер, тоскующих учеников я не видел, но есть честно сказать, на уроках такой тишины, как у Петра Михайловича, не было. И все потому, что Павел Нестерович видел в учениках своих друзей и товарищей, не унижал их, не оскорблял, хотя и поругивал некоторых частенько, только незлобливо, по-отечески.

Читал я его «мемуары», написанные им в последние годы, когда память (которая меня поражала, особенно, когда он писал про свои детские годы) начинает слабеть, и в записях повторяются описания фактов, о которых лучше бы не упоминать.

Например, он пишет, как его арестовали «белые» за то, что он был первым председателем волостного правления в Нижнеилимске.

Пишет, как его конвоировали в город Нижнеудинск и как он ждал пули в спину от конвоира, едущего на лошади следом за ним.

И вдруг фраза: «Меня демобилизовали из колчаковской армии и отправили учительствовать в теперешний Братский район». Странно?

Было досадно интересно читать, как он изъездил, чуть ли не всю Россию, Украину, чтобы снова очутиться на Илимe, довольно зажиточным человеком: купил дом, купил сельхозмашины для сельхозартели, причем самые современные.

Моя память тоже стала сдавать, и прошу извинения у читателей, если я где-то что-то подпутал.

Последний приезд в Железногорск состоялся летом в годы перестройки. Павел Нестерович, проживающий в Иркутске и пользующийся там, как старейший учитель, почетом и уважением, заявил, что мечтает прожить сто лет, и в это охотно верилось.

Немного он не «дотянул» до ста лет.

Есть он у меня на фотографиях, а картина, на которой я изобразил его на фоне Нижнеилимской средней школы, хранится в музее просвещения города Железногорска.

Василий Гаврилович Москвин

Я познакомился с ним, когда пошел учиться в Нижнеилимскую среднюю школу, хотя видел его на сцене Нижнеилимского Дома культуры в спектаклях, только тогда я не знал, что это учитель физики. Конечно, скорее всего, он был природным артистом, потому что играл на сцене вполне про-

фессионально, часто и не расставался со своим увлечением вплоть до преклонных лет, и мне почему-то хотелось бы писать о нем как об «артисте», о его пролях.

Василий Гаврилович (жаль, не «покопался» в его биографии: откуда он, где учился?) имел высокий рост, отмечался стройной фигурой, одевался скромно, аккуратно. На уроках любил подшутить, юморок, причем, был очень к месту и вовремя.

Вспоминается эпизод. Была в нашем седьмом классе отличница, дочь первого секретаря райкома партии, сидела, как всегда, на первых партах, ближе к учительскому столу.

Василий Гаврилович, делая опрос по пройденному на прошлом уроке материалу, незаметно вытянул из элемента Лекланше (если мне не изменяет память) центральный стержень и спросил:

– Анисова, включи звонок в цепь.

– Так... начала Анисова, став возле стола, – ток идет от плюса к минусу...

Соединила провода, звонок молчит.

– Не звонит, – нарочито сердясь, подсадовал Василий Гаврилович. – А ведь учила!

– Учила, Василий Гаврилович, учила!

– А не звонит... Ну давай, еще разок!

– Анисова проверила все соединения, подтверждая «теоретически» ответы. Звонок молчал.

– А ты, Замаратский, учил домашнее задание?

Я молчал.

– Значит, не учил. – В голосе учителя слышалось смешинка. – А звонок включишь в цепь?

– Пустяки, – сказал я и всунул центральный стержень в раствор электролита.

Звонок зазвенел.

– Так, кому «пятерку» ставить? – улыбался Василий Гаврилович. – Тебе, Анисова?

...Еще эпизод. На экзамене по физике я не могу одолеть задачу (проклятые дроби!), хотя ход решения рассказал, ответив перед этим на теоретические вопросы.

– Ну что же, – потребовал Иван Калинович, директор школы, тоже преподаватель физики. – Решай задачу.

Я не знал, как умножить или разделить проклятушие дроби в сотых или тысячных долях; запустил, не смог одолеть премудростей этих долей и каменно молчал:

– Итак, – подвел итог Иван Калинович, – надо ученика оставлять на осень.

– Нет, – возразил Василий Гаврилович, оглядывая ассистентов, – оставлять на осень надо нас с вами.

– Кого же конкретно?

– Ищи ветра в поле! – усмехнулся Василий Гаврилович. – Десятичные дроби в какой классе проходят? Наша, повторяю, общая недоработка...

Есть и мой брак: мог же я «копнуть» ученика поглубже? Впрочем, учился он неплохо, отличался сообразитель-

ностью, но, видимо, крестьянские гены дают себя знать: абстрактное мышление в деревне развито слабо, поэтому ученик не смог одолеть довольно отвлеченные от практического применения дроби. Что делить крестьянину? Да еще такие мельчайшие доли? Моя вина!

Много позже, когда я уже работал в Доме культуры, приходилось не раз удивляться памяти, артистическим способностям, интеллигентности и простоте Василия Гавриловича! С каким удовольствием брался он за любые роли в спектаклях, каким почетом пользовался у зрителей за правдивое, искреннее исполнение ролей в спектаклях, но и как учитель был уважаем не только учениками, но и населением вообще.

Иван Павлович Голубев

Мне довелось учиться у Ивана Павловича Голубева, учителя математики, степенного, вдумчивого человека. Был он высокого роста, крепкого телосложения.

Нравилось, что он старался отвлеченные от жизненных потребностей задачи приблизить, соединить с практикой. Я недолюбливал алгебру за ее, на мой взгляд, ненужность в деревенской жизни, мне нравилась геометрия, и я с удовольствием старался применять знания на практике. Например, как определить высоту дерева, не нанося ему вреда. Или определить довольно сложную по конфигурации площадь огородного участка.

Иван Павлович объяснял доходчиво, пользовался чертежами на классной доске, таблицами, хотя давал понять всем своим поведением, что лучше всего иметь «царя в голове», то есть правильно и точно соображать, никогда не торопил с ответами.

«Торопиться блох ловить!» – любил он повторять сам этому следовал.

Славился еще он и тем, что был «ходячей энциклопедией», особенно по жизни района. Мог подробно рассказать о том, когда и где расстреляли революционера Дудченко, как шли по Илимму каратели и партизаны, как политссылные поднимали культура и развивали образование илимчан. Мог рассказать и про местную знаменитость – купца Черных.

В те далекие времена учителя пользовались всеобщим уважением, даже любовью. Встречаясь с ними, жители почтительно здоровались, порой раскланивались. Жаль, что в последнее время отношение к учителям изменилось в худшую сторону: учитель на фоне всеобщего среднего и высшего образования стал выглядеть таким же серым, обыкновенным человеком, как и окружающие.

В самодеятельности (в спектаклях) Иван Павлович не участвовал и вообще, на мой взгляд, не очень-то старался быть на виду окружающих, хотя и не слыл букой.

Иван Калинович Ступин

Невысокого роста, крепкий, имел он неистребимую деревенскую внешность, такие же привычки, повадки. Чаще всего был он на административной работе: директор, завуч, вел уроки физики. Речь его страдала косноязычием, поэтому не мог отличаться ораторскими талантами и, ясное дело, в спектаклях не участвовал. Как и многие выходцы в интеллигенцию из деревень, старался быть строгим, порой ворчливым, экономичным, даже скупым.

Помню, Василий Гаврилович заказал сделать копии портретов выдающихся физиков, пользуясь их изображением в учебнике. Я сделал карандашом десять портретов величиной в полватмана каждый. Василий Гаврилович очень обрадовался тому, что у него в кабинете физики со стен будут глядеть на учеников знаменитости. В знак благодарности он решил оплатить мой труд в деньгах, для чего завел разговор с директором школы Иваном Калиновичем. Тот, понятно, в «дыбки»: как? Платить ученику за то, что он рисовал? Разве это труд? Это же детское баловство, удовольствие.

Василий Гаврилович проявил настойчивость, сумел убедить директора тем, что предложил Ивану Калиновичу нарисовать портреты, за которые он заплатит ему из собственного кармана.

– Нет, – сдался Иван Калинович, – рисовать я не умею.

– Вот то-то же! – удовлетворенно заявил Василий Гаврилович, радуясь победе над косностью и эстетической неграмотностью коллеги.

Валентина Ивановна Куклина

Конечно, можно было бы еще о многих учителях писать, но я выхожу за рамки объема, поэтому ограничусь рассказом об одной учительнице – Валентине Ивановне Куклиной (в девичестве Голубевой). Запомнилась она тем, что на ее уроках чувствовали себя как бы наравне с ней, как бы живя и дыша тем же, что она им преподавала.

Лично я, – захлеб слушал ее объяснения, отлично все понимая, еще лучше запоминал. Вела она русский язык и литература, и каждый урок словно впервые: восторженно – приподнято, достойно, образно, входя в душу и сердце ученика, во всяком случае, так я ее воспринимал.

Объясняя материал, подавая его, она не ходила по всему классу, а как бы проходила за второй, третий ряд и поворачивала обратно, и было ощущение, что ты с ней неразделим и чувствуешь, как ее желание передать свои знания тебе сливается с твоим желанием получить эти знания сполна и навеки.

Теперь очень краткие эпизоды из моей школьной жизни. В 6-ом классе ввели новый предмет – алгебру. Мне, кре-

стьянскому пареньку было совершенно непонятно, для чего этот странный предмет: какие-то А, плюс В, плюс С и т. д. и т. п.

Я осмелился и спросил строгую учительницу математики Евдокию Ивановну, для чего нужен этот предмет. Она ответила кратко:

– Замолчи, дурачок, подрастешь, узнаешь.

Ответ, меня не удовлетворил, и я возненавидел математику, а это сыграло в моей биографии весьма отрицательную роль: я испугался учиться в старших классах, хотя такая возможность не исключалась при определенных трудностях и некоторых лишениях.

Запомнился учитель истории Перетолчин Иван Петрович, который вел уроки в такой доходчивой, почти анекдотической форме. Он с серьезным видом уверял:

– Король Людовик XVI ввел некоторые реформы, ограничивающие возможности его детей, которые собирались вместе, поколотили папашу, и тот от огорчения умер.

Разве такое забудешь?

Однажды в классе появился сын Павла Нестеровича Калошина, который в армии во время прыжков с парашютом получил сильную травму и был комиссован. Стал вести уроки черчения. Однажды после уроков он натянул под потолком проволоку с узелками, придал ей угол, а внизу, в проходе между партами, поставил домик; потом пустил вниз по проволоке макет самолетика, тот, наткнувшись на узелок, сбра-

сывал вниз бомбочку.

– Ми-мимо, – восторженно кричали мы.

Владимир Павлович вносил коррективы и пускал самолетик вниз.

– По-опал! – орали мы.

Сказывались гены отца – вносить в скукоту учебного материала живинку.

Косыгин Семен Иванович первый из жителей Нижнеилимского района получил высшее образование, закончив университет в городе Томске, а в последние годы жил и работал в Красноярске.

Я его случайно видел, когда он приезжал на побывку в Нижнеилимск и приходил в новый Дом культуры познакомиться с ним и попутно посмотреть мои копии с картин художников. Он и сам отлично рисовал и писал маслом. Мне удалось видеть подлинники его карандашных набросков на полях ведомостей на приемных экзаменах. Видел и работы масляными красками. Очень был заинтересован его краеведческими работами: это «Словарь говоров Илима» и тетрадь «Места Илима, которые интересовали (волновали) меня в разные времена года».

Между прочим, эти же места и времена волновали и меня, хотя прошло много лет.

Умер Семен Иванович, и местный краевед Елизаров съездил в Красноярск, привез архивы Косыгина в Железногорск.

Кстати, во время отпуска поселился Семен Иванович у

Голублева Ивана Павловича: старые друзья и коллеги.

*В Нижнеилимске дно морское,
И старой школы нет давно.
Хранима памятью людскою
Она под сердцем все равно.*

Мазила

Алексей Иванович, мы его называли сокращенно Аив, учитель физики, купил новенький «Москвич-412» и торжественно пригласил умеющего водить машину Михаила Михайловича, (Мимиха) учителя пения, массивного человека, на центнер веса, и меня, учителя черчения и рисования, на охоту. Да, поехал с нами и сын Аива в качестве обучаемого и вдохновителя наших «побед» над зайцами.

Я был возведен в ранг главного следопыта, Мимих, как известно, водитель и обладатель тулки 16-го калибра. У Аива была новенькая тозовка, недавно купленная в магазине «Культтовары», у меня ижевка бескурковка 12-го калибра, доставшаяся мне помимо моего желания (не соответствовала ни росту моему, ни весу), потому что ничего другого в магазине в то время не было. Сын был вооружен любопытством и наблюдательностью.

Алексей Иванович всю дорогу облизывался (привычка в предвкушении скорой выпивки!), смотрел равнодушно на дорогу, медленно поворачивая крупную голову на короткой шее. И вообще он не отличался гвардейской выправкой, как не отличался ею никто из нас. Мимих из-за солидной фигуры, я из-за коротковатых ног, сын из-за малолетства (ученик восьмого класса).

Километров за двенадцать от дому увидели первый след.

Мимих решительно тормознул, Аив клюнул носом мы с восьмиклассником тоже подались вперед и довольно решительно, но не менее решительно были задержаны в своем стремлении передними сиденьями: выскочили друженько из машины...

Жили мы в райцентре, дотягивающем «последние нонешние денечки», потому что ему была уготована судьба оказаться на дне Усть-Илимского водохранилища. Здесь, где мы остановились, увидев заячий след, протекала таежная красавица Тушама, обезображенная лесоводчиками до такой степени, что только молодой оптимизм и неверие в то, что можно с этим варварством что-то поделать, уберегала нас от союза с Распутиным, который в скором будущем «навалится» всей силой своего таланта на небрежное, нелюбовное отношение к многострадальной нашей природе, беззащитной и беспомощной перед сомнительными расчетами равнодушных экономистов, не видящих ничего дальше своего носа...

Нас пока волновали зайцы. Я строго-настрого наказал не затапывать заячий след, идти по сторонам, а сам пошел «без страха и упрека» вперед и только вперед. Вот и сдвойка, вот и скидка! Шла он к штамбелю, вернее, остаткам от штамбеля, в хлам.

Я жестко расставил охотников вокруг предполагаемой лежки. Они послушно, как и должно быть, заняли указанные места.

Заяц повел себя странно. Он встал с лежки и сел, как бы

полагаясь на совесть и милость «оргомадных дядей, вооруженных, как говорят, до зубов!». Мы подождали, но он не задал стрекача, столько обычного для косоглазых.

– Стреляю я! – крикнул Аив, заряжая тозовку.

– Давай, – согласился я, прикинув, что выстрел никому никаких образом, кроме зайца, не угрожает.

Аив припал на колени, тщательно прицелился и выстрелил. Пуля сухо шлепнулась в бревно. Заяц сидел, как ни в чем не бывало, только ухом повел в сторону щелчка.

– Спокойней, – посоветовал я, – не рви спусковой крючок.

Аив выстрелил снова, и снова промах.

– Не горячись, – сказал я, начиная нервничать: заяц не глиняный, задаст стрекача – стреляй его среди людей – то!

– Счас я его, – сказал Аив таким тоном, что заяц бы пог помереть и от страха. Аив долго целился и смазал! Промач.

Выстрел – промах, выстрел – промах! Промач, снова промах...

Мне захотелось крикнуть Аиву, этому мазиле, позорящему себя и нас в глазах восьмиклассника, что-нибудь оскорбительное, но я не посмел: бежать обратно двенадцать километров пешком – удовольствие не ахти какое.

Терпеливый заяц стал проявлять признаки беспокойства: его, видимо стал раздражать свист пуль. Он стал поглядывать в стороны, соображая, куда бы рвануть, чтобы не подставить свой бок под выстрелы наших с Мимихом «пушек».

– Стреляй, Мимих, – попросил я, прикинув, что ему вы-

годнее всего сделать это, обеспечивая наибольшую безопасность, но не зайцу, понятное дело. Мимих вскинул тулку, и заяц лег, чисто срезанный снопом дроби. К нему бросился восьмиклассник, а мы подошли к смущенному и злому Аиву.

– Ну что с тобой? – спросил я как можно душевнее.

– Тозовка плохая попалась?

– Сами же пристреливали, – пожал плечами Аив.

– Куда целился?

– Ясно, в головку.

– Почему мазал?

– Ума не приложу.

Мимих взял у Аива тозовку и громко расхохотался: ему не грозило бежать пешком, потому что машину водить никто из нас не умел. – Посмотри, сказал он мне, – прицел стоит на двести метров, а до зайца было от силы двадцать шагов...

Ход конем

Юмористический рассказ

Домоукрав, виноват, домоуправ Красавина, полная женщина с мягкой милой улыбкой, видела во всех снах... Что бы вы думали? Дачу? Конечно, ее, милую.

Нет, не ту, которую она недавно так удачно продала. Деньги что обижаться, содрала немалые.

Но раз дают, почему не взять? На базаре, как говорят умные люди, два дурака...

Честно говоря, новая дача у нее уже стояла, но что это за дача? Разве с другими сравнишь? Вон у Расческина – дача! У Фонова – дача! У Ступникова – дача! У них не дачи – произведения искусства! Продавать захотят – с руками оторвут. народ не разучился красоту понимать и, главное, ценить. А у нее дача – на смех курам. Сруб, конечно, просторный, но опять из шпалы. Хорошее дело – шпала. Выпишешь два куба, а увезешь – двадцать. И никто не проверит, обидно даже. Другие вон вообще без выписки умудряются вывозить стройматериалы – и никому дела нет. Обидно, конечно, у тебя-то уплачено. Кровные денежки отданы. А они бесплатно волокут. Но лучше все-таки заплатить, воровать нехорошо, а заплатил – и спокойно на душе, документ в кармане...

Сруб-то просторный, и окна, и печь кирпичная, и мансарда в небо смотрит, и гараж под дачей. Только беда с отдел-

кой: пиломатериалы, ох, дорогие! Не навыписываешься. А как без пиломатериалов? Без них словно без рук. Ни стены обшить, ни ограду вокруг дачи поставить, ни резьбу красивую под карниз пустить.

Нет, без пиломатериалов – ни туда и ни сюда!

Красавина сидела в конторе за канцелярским столом, и стул под ее солидной фигурой жалобно поскрипывал. «Неужели придется пиломатериалы выписывать? – лезли вот уже несколько дней в голову мрачные мысли. Конечно, я могу выписать, но ведь дорого, дорого!».

Это «дорого» колотило невидимым молотом по голове, кололо тупым шилом в сердце, холодными мурашками ползло по спине.

«Проблема. – прикусила она нижнюю губу. – Из проблем проблема! восемьдесят рубликов за кубик!».

Она не замечала, что в слово «проблема» впуталась лишняя буква «м», но кто из нас не грешен в русском свободном и могучем языке, особенно в его иностранных, иногда очень странных словах. Не слышала, о чем говорят входящие и исходящие люди, до нее не доносились раздражительные телефонные звонки. Она так увлеклась «проблемой», что упади сейчас где-нибудь стена одного из домов, не удивилась бы, не обратила внимания. Что там какая-то стена, когда дача «горит» из-за отсутствия пиломатериалов?

У Красавиной от напряженных дум гудело в голове, в серых глазах проскальзывали зеленые и оранжевые чертики,

похожие на инфузории. Она искала выход из, казалось бы, безвыходных положений. Она знала, чувствовала, что нет безвыходных положений. Об это же ей говорил весьма многообразный и длительный опыт: кто ищет, тот всегда найдет. Все, что можно было найти, уже найдено другими, подобрано, увезено, превращено в штакетник, облицовку и прочие дачные детали. Сама же она «нашла» лишним детский корт, точащий под окнами домоуправления. Немного фантазии – и корт был превращен в стоянку для личных автомобилей, а ограждение из аккуратных дощечек было убрано «за ненадобностью», списано и увезено в неизвестном направлении. Одному богу известно куда. Может, на дачу, а может, уничтожено «путем сожжения». Люди-то не стараются разобраться, что к чему. Украли? И ладно. Лишь бы не у меня. А то, что украли общественное, так это не мое, не жалко. Это наше, значит, ничье.

Вот ведь логика. А? наше, значит, ничье. Ну и ну...

А какие хорошие дощечки были, ровные да гладкие, сухие, как они пригодились. Жаль, мало!

Доски от списанной эстрады оказались еще лучше, потому что длиннее... Соображать надо: поставь эстраду туда, где она никому не нужна, то есть не на место, и все! Списывай. Ошибочка, мол, вышла, сносить, списывать надо. И спишут, и снесут. Кто что поймет, разберет: сознательная ошибка или случайная? «С миру по нитке, удачнику – дача, – соображала Красавина. Да, Архимеда был сюда. Вот, говорят,

изобретательный мужик был. Землю и ту повернуть соби-
рался. Да-а... Или Остапа Бендера... Тоже мастер на выдум-
ки был, вдобавок Уголовный кодекс уважал, проходимец, не
то что этот розовый поросенок Альхен... Стулья воровал,
пошляк».

Красавина отлично знала, что воровать нехорошо, и ни-
когда бы не решилась на это, предлагай ей хоть какие выго-
ды, хоть какие блага сули. «Что я, дурра? – выпячивала она
нижнюю губку. – Все надо по закону делать, так чтобы ника-
кой комар-ревизор носа не подточил, чтобы все документы
в ажуре были...»

В радиорепродукторе прохрипело, щелкнуло, и голос дик-
тора объявил: «Начинаем передачу «Театр у микрофона».
Вначале краткий словарь. Слово «репетиция» с французско-
го обозначает «повторении»...»

Дальше Красавина ничего не слышала, ее осенило. Репе-
тиция, повторение... Конечно же, вот он, выход! Повторе-
ние! Повторение... Ура-а!

Надо где-то построить новый корт, да побольше размера-
ми, с русским размахом, так сказать, чего мелочиться. А че-
рез полтора-год списать. Выход? Выход! пиломатериалы как
бывшие в употреблении списать и реализовать по дешевке,
рублей этак по пять-семь за кубометр. (Кстати, кто их, ку-
бы-то мерил?). Сама же их и куплю! Ход конем получается.
Есть в шахматной игре такой хитрый, букву «г» напоминает.
Идет прямо и вдруг прыг вбок, туда, где его не ждали. Лов-

кий конь.

– Эрика! – закричала Красавина и ударила в мягкие ладони.

– Я не Эврика, – смутилась сидящая за столом с другой стороны женщина, – я...

– Это я не вам, это...

– ...внутренний монолог, – ворвался в сознание голос из репродуктора, но Красавина ловко выдернула вилку из розетки, и репродуктор удушено заглох.

Красавину распирало от радости: выход найден, да какой! Остап Бендер лопнул бы от зависти. «Сто тысяч искал, – брезгливо подумала она, туниядец. – Работать надо... головой. Вот выстрою дачу и продам. В карман десять тысяч положу, а то и больше (смотря какой дурак попадетя), это сто тысяч по-старому! Эх, Бендер, Бендер, убогая фантазия у тебя была. Ох, убогая...»

Красавина прошлась по половицам, и они заскрипели жалобно, тоненько. «Остальное, – лихорадочно мелькало в голове, – дело техники. Если кто-то и запротестует – поделиться можно. Я не жадная. Сейчас все дачи строят. Кому дешевые пиломатериалы не нужны? Всем нужны»

Завидной величины корт возник рядом с новым домом. Для детей ничего не жалко. Плотники вколачивают последние деньги, виноват, гвозди, маляры замазывают глаза, тьфу, щели, покрывают забор приятным зеленым дачным цветом (чего мелочиться), семьдесят бед – один ответ.

Шел снег, росли сугробы, корт бездействовал. Столбы, трагически склоняясь, так и не были зарыты в землю, и проводки на них не было.

Поздней весной, когда дачная «индустрия» набрала полную силу, в ночь с субботу на воскресенье корт с ретивой поспешностью исчез. Лишь столбы торчали из ям, напоминая детям, что здесь еще вчера находился большой корт, отгороженный отменным обрезным первосортным тесом, самым подходящим для дачных построек.

Бедняга корт не подозревал о мудром коварстве и дальновидности деляг и дельцов, наживающихся на народной любви к детям, которые по младости, по глупости не понимали, кому это потребовалось сначала соорудить для них отменный корт, а потом огорчить их не с меньшей легкостью.

«Подумаешь. – торжествовала Красавина, – что они, без корта не проживут, что ли? Надо будет – еще построим. Не жалко. Народ у нас добрый. Если кто и догадывается, поймет, так промолчит, простит».

А людям так нужны дачи! Ведь они нынче по цене...

Много лет прошло с тех пор, а вот помнится эта история, которая так и осталась историей.

Бытовая сюита

Позвал меня друг на новоселье. Радостное событие, что и говорить! согласился. Прихожу под вечер, друг у подъезда встречает. Входим, на лестничной площадке веселые ребяташки кораблики бумажные в лужах пускают. Сверху дождик идет, ласковый такой...

– Что это? – спрашиваю. – На воре зима, а дождь льет...

– Дом новый, а головотяпство старое, – отвечает друг.

– Что же ты никуда не сходишь, не пожалуешься? Смотри, уже и побелка шкуркою повисал...не жалко, что ли?

– Жалко, – говорит друг, – ходил, жаловался, мне отвечаю, что проект дома в южном исполнении, трубы конденсата на улицу выведем, перемерзают, вот и дождик зимой...

Сначала я обрадовался, что живем-то мы, оказывается, на юге, но тут же испугался: а вдруг отменяют «северные» доплаты. А жаль!

Заходим в квартиру. Прелесть! Благоустроенная, улучшенной планировки, кухня большая, кафель вкривь и вкось, щели большие в полу, в дверях, в окнах...

Зашли в ванную. Просторная, на стенах пятна, как у леопарда.

– Ну, – не согласился друг. – Скорее похожи на харисовые...

– А холодно как!

– Это хорошо, что холодно: есть где картошку хранить, а было бы тепло, так картошка бы пропала, испортилась, а ведь денег стоит... Вот если бы поставил здесь радиатор – пропало б все. А так – хорошо! Может, кто и простудится, так ничего! Почихает, покашляет... Закаляться надо! Меньше ангинами болеть будем...

Ходим, смотрим... Отличная квартира!

– Недоделки, – говорит друг, – пустяки. Что стоит заделать щель в двери в ладонь величиной? Выстрогал планку – вставил, и все.

Недолго и переделывать то, что не закрывается, а должно закрываться, или что-то открывается, а не должно открываться... Неделя-другая – смотришь, и все недоделки доделаны, благо в хозмаге инструменты всевозможные есть, а навыки мы на уроках труда получили... Подкрасить, подклеить, проконопатить – это пустяки. Сложнее с тем, что капает там, где не должно капать, и не бежит там, где обязано литься... Тут мне не справиться...

– Что-то много «пустяков» набирается? – удивляюсь я. – Я бы эти мелочи...

– Мелочной значит, ты человек, – улыбается друг.

– Из мелочей, – уверяю я, – складывается великое. А квартиры, что? Не великое?

...Ну посидели, чайку попили, кое-чего покрепче пропустили.

Славно новоселье справили. Стал я домой собираться, а

друг спрашивает, мол, что ты в ночь-полночь пойдешь? У тебя завтра выходной, оставайся, мы тебе на диване постелем.

Согласился. Уснул. Проснулся в ужасе: за окном крупнокалиберный пулемет очередями бьет. Бросился к окну. Дымом все заволокло. Присмотрелся – вот оно! Опять кто-то в чертежи не заглянул, в план генеральный. Это бывает! При некоторой безответственности людей, ответственных за строительство.

Отбойные молотки вгрызались в недавно положенный асфальтобетон на подъездной дороге к новому дому. Компрессор подпрыгивал от напряжения, дрова и уголь исходили синим пламенем и черным дымом, пытаюсь разогреть бесчувственную твердь скованной морозом земли. Подскочил к окну и друг.

– А, – радостно воскликнул но, – канаву под телефонный кабель пробивают. Скоро по телефону говорить будем! Недели через две-три. А вообще-то летом один рабочий мог бы прокопать эту канаву за день-два...

– Конечно, – согласился я, – земля-то талая была, асфальтобетона не было.

Сражение, как я позже узнал, длилось пол месяца с переменным успехом: побеждали то мороз, то рабочие. Были и жертвы – финансовые!

– Опять ты мелочишься, – упрекнул меня друг, – ну что значит в масштабах нашего гигантского строительства ка-

кие-нибудь миллиона, выброшенные на ветер? На то и ветер, чтобы гулять в чьих-то головах. Не все же шахматисты, чтобы на тридцать ходов вперед смотреть. От таких дум и голова лопнуть может.

Сон в руку

Воспитали меня природа и жизнь в материалистическом духе, чему я очень рад, доволен и благодарен. Не верю ни в Бога, ни в черта, ни в лешего, ни в ведьм, ни в колдунов, ни в наговоры, заговоры и т. п.

Это дает мне полную свободу хотя бы в том, что могу мыслить так, как хочу, поступать так, чтобы не вызывать откровенной зависти одних, неприязни и неприятия других. Конечно, стремиться быть «белой вороной» мне ни к чему, но и быть «серой скотиной» тоже не хочется. Люблю, уважаю людей честных, справедливых, готовых вступить за тех, кого хотят оскорбить, унижить, подвергнуть побоям только за то, что этот человек не понравился кому-то внешне или высказыванием, неугодным типу, считавшему себя самым умным, самым способным.

Не могу терпеть наглости, от кого бы она не исходила...

Во что же я верю? Верю в природу с ее пейзажами, и молниями, громом, дождями и засухой, потопами, пожарами, морозами и жарой, урожаями и неурожаями, с ягодами и грибами, с птицам и рыбой.

Все это материально, все окружает нас, все напоминает о себе. А вот такие понятия, как судьба, рок, для меня не очень удобны, потому что я не могу их представить в виде чего-либо реального, а раз так – значит, они не могут быть,

тем более если я этого не хочу, не принимаю, не понимаю. Но такие, казалось бы, абстрактные понятия, как ум, честь, совесть, благородство мне по душе, хотя и душа, на мой взгляд, тоже нечто выдуманное, несуществующее.

Жизнь выкидывает «фокусы». В сны, в то, что они сбываются или что-то предсказывают, я тоже не верил: сон – он сон и есть. Мало ли что может присниться, тем более что во сне все не очень ясное, четкое, разумное. Вообще-то я редко вижу сны (сплю крепко от трудов «праведных»), но иногда снятся сны, которые мне так нравятся, что я хотел бы видеть их почаще. Особенно если все снится четко и ясно, и четче и яснее, чем в жизни, какой-либо пейзаж, цветной и реальный до потрясения, до такой степени, что не верится, будто бы в жизни бывают такие светлые и прозрачные тона! Проснувшись, долго еще находишься под обаянием дивного явления, жалеешь, что видение, к великому сожалению, приснилось.

Я был совершенно уверен, что сны в какой-то мере отражают пройденное в повседневной жизни, но чтобы они могли предсказывать будущее – в это поверить не мог, пока не случилось чудо.

Вечером явился ко мне друг Михаил, заядлый охотник и мой связчик.

– Поедем-ка завтра на тетеревов охотиться. Говорят, в устье Тушамы этих тетеревов развелось видимо-невидимо.

– Всегда готов! – ответил я.

Лег спать и сон увидел, да такой ясный и четкий, лучше,

чем в жизни. Будто бы я со своей «ижевкой» (двустволка) иду вниз по речке Тушаме через перелески и полянки. День ослепительно ясный, все видится отчетливо. Нежная порошка лежит на снегу, словно стерильная полянка свесилась в покое береза. На одной из веток сидит тетерев, наслаждается чудесным утром.

Я поднимаю двустволку, прицеливаюсь, нажимаю на спуск. Тетерев камнем падает в снег. Я подхожу, поднимаю тяжелое тельце и вижу на снегу капельки крови, точь-в-точь-ягодки брусники...

Просыпаюсь утром, готовлюсь к охоте, забыв в хлопотах про чудесный сон.

Пришел друг, сели на мотоцикл и вот она. Тушаме. Пошли пешком через перелески и полянки, которые почему-то казались очень знакомыми.

«Как во сне», – подумал я, удивляясь.

Друг ушел в другую сторону: зачем вдвоем ходить, пугать добычу. Я продолжал идти дальше. И вот – диво! На полянке, окруженной соснами и елями, склонилась береза точно такая, как и во сне, и на ветке сидел в раздумье тетерев. Я поднял двустволку, выстрелил. Тетерев камнем упал в снег. Я подошел, поднял тяжелое тельце и увидел на снегу капельки крови, точь-в-точь, как я годы брусники...

И вдруг вспомнился ночной сон, сбывшийся в абсолютной точности...

Говорить об этом другу побоялся: не поверит еще, поду-

мает, что я «сочинитель», что такое в жизни не бывает.

А вы, читатель, поверите?

В час ночи

Быль

С тех пор прошло, кажется, двенадцать, да, точно двенадцать лет, но для данного случая это не имеет какого-нибудь значения. Он мог произойти и полсотни назад и вчера.

До сих пор все стоит в глазах, как на экране только что купленного телевизора, цветного к тому же.

– Поедем по бруснику, – предложил сосед по гаражному кооперативу, невысокий, похожий на подростка, худощавый, но боевой духом и резвый в движениях. Звали его Зуваир, только на мой взгляд, взгляд аборигена-сибиряка, илимчанина, от татарских кровей в нем ничего не оставалось, кроме проскальзывающего порой восточного высокомерия, впрочем, никого ничуть не оскорбляющего и никому не мешающего, потому что оно не превышало пределов допустимого, проявлялось редко и почти незаметно.

Глаза Зуваира крупные, серо-голубые, волосы русые, неухоженные, овал лица правильный, скулы не выпирали по – азиатски, нос и рот небольшие. И был он какой-то серым лицом и одеждой, будто предпочитал серый цвет прочим, не серым оттенкам.

Приехал он из-под Казани, но откуда точно – не знаю, рассказывал, что имел трудное военное детство, что голодал, собирал куски, бегая за поездами по железнодорожной стан-

ции, что пас овец и плохо помнит родителей... В наши сибирские места попал, завербовавшись на строительство Коршунского горно-обогатительного комбината, будучи женатым, имя двух малолеток.

Сам и жена устроились оперторами дробильных установок на фабрику, стали «фабрикантами», как я их называл в отличие от «карьеристов», то есть тех, кто работал в карьере.

Вскоре купил Зуваир мотоцикл «ИЖ-Юпитер» с коляской, вступил в гаражный кооператив и построил бокс неподалеку от моего, что и послужило для нашего знакомства.

Я преподавал в школе черчение и рисование, предметы, как известно, далекие от мистики, поэтому мог считать себя человеком в психическом отношении совершенно здоровым, да оно так и было на самом деле: не верил никогда, даже в самом раннем детстве, ни в чертей, ни в леших, ни в водяных, хотя полагал, что ведьмы все такие могут встречаться в жизни, в чем не раз пришлось убедиться, когда эмансипация женщин достигла своего апогея.

Но речь не о женщинах. Имел я горбатого колченогого «Запорожца» – машину, как-никак, по тем безмашинным временам, редкую. Она удивляла и восхищала своим норовом и проходимостью не только меня, но и многих других ягодников и охотников. Впрочем, речь не о машине...

– На чем поедем? – спросил я.

– На чем хошь. Хошь на «Юпитере»...

– Лучше на «Запорожце», – сказал я, по горькому опыту зная, что дальние поездки лучше совершать "«под крышей». Дождь или ранний снег (что на Илимe случалось часто), или падера, как называют у нас «винегрет» из ледяного дождя, мокрого снега и холодного резкого ветра, в машине почти не ощущается, на мотоцикле же с его «открытым характером» такое «удовольствие» не пожелаешь и врагу своему.

– Ладно, – довольно произнес Зуваир, – а когда?

– Прямо сейчас, – сказал я (хотя слово «прямо» можно было и не говорить, но что делать: илимские привычки!), – сбегает в магазин за продуктами – и в путь! завтра у меня свободный день. А как у тебя?

– Здорово! – воскликнул Зуваир. – И у меня свободный.

...Запорожец бодро мотал под бескамерные колеса легкие километры наших так называемых дорог. За три часа он подобно рекордсмену преодолел почти девяносто километров, добросовестно доставив нас в Старую Игриму, бывшую колхозную деревню, а теперь леспромхозовский поселок, вынесенный из зона затопления на высоту, недостижимую для равнодушной ко всему воде Усть-Илимского водохранилища, правда, наполненному пока еще только на половину. Полное «море» ожидалось на следующий год.

Машину поставили ха сваренные из металлических прутьев ажурные ворота химлесхозовского гаража под добровольный, но бдительный присмотр старенького, обросшего

неряшливой бородой, бравенького и словоохотливого сторожа. Он, поглядывая на наши горбовики масляные глазки, узнал о цели нашего приезда и очень-очень старательно стал объяснять нам, где найти бруснику, вычерчивая на песке прутиком план поисков. За это мы тоже очень-очень горячо поблагодарили его словесно, так как не прихватили с собой ничего горячительного, такого, что могло бы скрасить нудное однообразие тоскливого одиночества «сторожинной» судьбинуски. Он заскучал, спросил с надеждой:

– Ты, паря, по опутине, кажись, наш, местный?

– Местный, конечно. Кто отец-то у тебя?

– А Иннокентий Михайлович Замаратский...

– Как же, как же. Знал твоего отца. Председателем был в колхозе «Трактор». Нескупой был человек!

– Я тоже, дед, не скупой: не захватили второнях...

– Поспесишь – людей насмешишь, – поучающее произнес сторож, – такие турсучищцы и пустые! Нехорошая примета...

– Ладно, дед, не расстраивайся, в следующий раз маху не дадим, привезем тебе радости, только не наворожи беды.

– Леший с вами, – сплюнул старик, – зачем не грех на душу брать... Вечереет, бегите, однако.

Мы спустились к бывшей речке Игирме, впадающей здесь в Илим, но теперь на месте реки синее стометровый залив, и ребяташки на люральяках плавали по нему, неуклюже работая веслами. Они перевезли нас на другую сторону, зарос-

шую редким сосновым бором, но с чашами подроста там и сям.

Надо сказать, что в окрестностях таежного городка Железногорска, куда пришлось переехать многим илимчанам (не представляющим, как жить на дне водохранилища) и где сейчас жил я (тоже не привыкший находиться под водой больше двух минут), брусника водилась, но настолько редкая да кислая, что собирать ее могли только совершенно не уважающие себя люди, поэтому истинные ягодники предпочитали отмотать лишнюю сотню километров, да набрать боро-вой брусники, сладкой, крахмалистой, вкусной, употребляе-мой без всякого сахара, который казалось, ее только портил.

Мы сказали «спасибо» ребятам, накинули горбовики (по – илимскому – турсуки, хотя турсуки были из бересты, а гор-бовики из всякой дряни: алюминия, белой жести, пластмасс и т. пю и т. д) и отправились, глядя на ночь в буквальном и переносном смысле слова, то есть на север, вверх по Игирме, остающейся у нас справа и то сближающейся к нас, то отда-ляющейся, исчезающей за деревьями из поле зрения.

Зуваир шагал налегке, у меня болталась за спиной дву-стволка, ижевка двенадцатого калибра и. как у истого опти-миста, не меньше полусотни патронов различного назначе-ния, хотя я по горькому опыту знал, что, как всегда, не при-дется выстрелить ни разу. Но с ружьем в лесу чувствуешь себя гораздо увереннее! Ружье – надежней и, главное, силь-нее друга, если оно находится в руках настоящего любяще-

го друга, ухаживающего за ним тщательнее, чем за собой. В минуту опасности оно должно сработать, как говорится, без осечки. А патроны? Что ж, я и сам был не рад закоренелой привычке носить на поясе полный патронаж, причем справа, под рукой, в нем не меньше шести пуль – три для правого ствола и три для левого, полного чока. Чуть правее находились патроны с картечью, а левее пулевых – с дробью разных размеров, и чем ближе к краю, тем мельче дробь. Я ведь прекрасно понимал, что такое количество патронов может никогда не потребоваться, но ничего с проклятушей привычкой поделаться не могу, полагая, что они могут пригодиться как раз тогда, когда их не возьму, поэтому и сейчас коробки с ними глухо постукивали о стенку горбовика, как бы напоминая мне о моем глухом желании таскать лишнюю тяжесть, и мне не оставалось ничего другого, как успокаивать себя тем, что «запас карман не тянет».

Дороги в том направлении, куда мы шагали, не было, топтали напрямую, благо бор представлял собой редкий сосняк на слегка всхолмленной местности, покрытой белым похрустывающим под ногами мхом с редкими вкраплениями брусничника с нечастыми ягодками. Разумеется, собирать их не имело смысла: мы шли туда, где бруснику «можно грести лопатой», по вдохновляющему выражению химлесхозовского, столь несчастного сторожа.

Мы, казалось, уже обо всем переговорили, больше по пустякам, шли молча, мысленно сверяя путь с чертежом сло-

воохотливого старичка, но все еще не могли добраться до старинной гари (молодая поросль трудно приживается на зыбучих песках), которую мы никак не могли миновать, если держаться возле речки, вернее, пруда. Солнце охотно уползало за верхушки деревьев, повеяло вечерней легкой прохладой, по лесу стал расплзаться красноватый свет, навевая смутное, тревожно-занудное чувство, какое обычно испытывает всякий, находящийся в незнакомых местах да еще томимый страхом, пусть и слабым, перед предстоящей ночевкой.

Но наконец-то мы вышли в гарь с редким. Чудом уцелевшими в беспощадном пламени отдельными соснами, лежащим вперехлест горельником, догнивающим, податливым под сапогом.

Я взглянул на циферблат: шли больше часа, значит, отмотали с нашим ягодным усердием километров семь – восемь. Но еще и по гари надо было шагать километра полтора-два, туда, где темнела стена нетронутого огнем леса – конечная цель нашего героического похода. Вон она, виднеется впереди...

Местность то и дело пересекалась неглубокими и неширокими распадками, устремляющимися к речке. Росли в распадках кусты ольховника и другие, названия которых я не знал, торчали горелые пни, валежины пластались на песке, но все это редко, не назойливо, не мешая обзорности на сотни метров.

Облюбовали место шагах в пятнадцать от речки. Вода была по-прежнему высокой и без течения. Сбросили с плеч горбовики, облегченно вздохнули: дошли!

Между нами и берегом шла недлинная полоса сухостоя: молодого леса, который горел лет пять – семь назад и теперь представлял из себя довольно густую стену с подсадком из двухметровой высоты чащи, тоже горелой. Сосенки, толщиной в десять – двенадцать сантиметров, являлись самой подходящей «пищей» для ночного костра. Слева полоса упиралась в зеленый лес, а справа. Шагов через десять, заканчивались, и дальше шла гарь, если смотреть туда, откуда мы пришли...

Зачем я утомляю читателя столь подробным, может быть даже нудным, описанием пейзажа? Прошу извинения, но все нужно для того, чтобы яснее и точнее представить то, что произошло в скором времени.

Вода в речке. Вернее пруду. Нам не понравилась. Она напоминала суп военного и послевоенного времени: плавали в ней бледно – зеленые короткие нити. похожие на неизвестных еще ученому миру тончайших червей не червей, водорослей не водорослей, словом, мы единогласно решили отказаться от заманчивого чая и поужинать всухомятку.

Собирая хворост для костра, наткнулись на крохотный ключик, вытекающий из углубления на склоне и через полшага исчезающий в песке чуть повыше того места, где кончалась полоса сухостоя.

– Ура-а! – закричал обрадовано Зуваир. – Будет чай!

Сумерки ускорила плавно надвигающаяся плотная облачность. Она, двигаясь с запада, вскоре повисла над нами плотным темным одеялом, вместе с ней нас обволокло теплым мягким дыханием воздуха, и все вокруг сделалось нерезким, уютным, ласковым.

– Кажись, не повезло нам, – затосковал я, зная, что осеннее тепло – верный признак затяжного дождя.

– Ерунда-а! – Заваир был настроен оптимистичнее. – Налетит ветер – разгонит, хоть ветром и не пахнет...

– Да-да, не пахнет, – подтвердил я, – надо больше дров заготовить... А еще лучше – нагреть костром песок, застелить его ветками ольховника, кустарников, улечься на них и укрыться полиэтиленовой пленкой... Пусть тогда дождь идет!

В ожидании, пока вскипит чай. Мы выломали в горелой полосе все сухостоины, которые поддались нашим совместным усилиям, вынесли их на облюбованное место, разложили большой костер.

– Мало сухостоя, – засомневался я, – ночь-то длинная.

– А где взять? – пожал плечами Зуваир. – Не в лес лезть.

В лес идти не имело смысла: окончательно стемнело. Да и что можно найти в зеленом лесу? Поэтому решили обойтись, тем что запасли, а спать по очереди, экономно подбрасывая дрова в костер. Авось, хватит до рассвета!

Два костра – один большой – потрескивали, раздвигая

на несколько шагов густую тьму. Наломали ольховника, прутьев для метлы. Вскипел чай. Достали из горбовников скромную снедь, не спеша поужинали, закурили и повели неторопливые разговоры в ожидании. Когда прогорит большой костер и можно будет головешки отнести в сторону, а место, где был костер, накрыть ветками ольхи, предварительно очистив метлой от угольков.

Зуваир рассказывал о своей жизни, я слушал и не слушал, занятый упорными думами о темной длинной ночи, о возможном ненастье, о том, что мне почти всегда не везет с погодой. Легкое беспокойство овладевало мной. Оно обычно появляется у меня (не знаю, как у других) в незнакомых местах и особенно тогда, когда я чувствовал себя в какой-то мере ответственным за безопасность других, в данном случае как абориген, все ж местный житель по отношению к приезжему Зувайру, который курил папиросу. Должно, волновался, переживая вновь волнующий эпизод из своей жизни, а я смотрел на него и обдумывал, как бы потактичнее намекнуть, что курить-то бы надо поменьше, глядя на ночь.

Посмотрел на часы, перевалило за полночь. Наконец костер прогорел. Мы отбросали его в сторону, уложили головы в неплотную кучку, пламя неохотно лизало остатки сухо-стоин. Принялись за обустройство «постели».

Вот и готово все. Зуваир никак не хотел прерывать свои воспоминания, повествуя их тихим, умиротворенным голосом довольного человека. Спину пригревало, стояла оглуши-

тельная тишина. И я тоже разнежился, даже хотел стянуть резиновые сапоги, но в это время с легким хрустом повалилась небольшая сосенка в полосе сухостоя из тех, что мы не могли повалить: не хватило сил.

Стреляй! – яростно зашептал Зуваир, дергая меня за рукав частыми нервными движениями. – Куда? – спросил я тоже шепотом, пытаюсь сообразить, какой силой было вызвано это странное падение: на ветер ни малейшего намека, сама по себе сосенка упасть не могла: мы их все буквально перепробовали сваливать и те, что удалось свалить, унесли на костер. Остались те, что под силу разве медведю повалить. Но откуда здесь медведь? Ведь до поселка километров десять. Кроме всего, я не слышал за всю свою жизнь, чтобы в этих местах кто-то когда-то видел медведя или хотя бы его следы. Вдобавок ко всему. Горит костер. А сосенка упала шагах в десяти от него. Разве зверь не боится огня? И никаких шорохов! Ничего подозрительного... Тишина, тишина, тишина! Если это медведь, то что за нужда ему валить сухостоины? Какой смысл? А если человек? Только что здесь делать человеку ночью? И какой он должен быть сильный, чтобы валить деревца, которые мы не могли повалить вдвоем? Если допустить мысль, что это беглый, то откуда и куда? Место здесь беглых совершенно непригодное...

Мы подождали минут пять-десять. Было тихо, ничто не предвещало опасности, но что-то было, деревцо-то кто-то повалил!

Подождали еще минут десять. Стало досадно, что спать, наверное, не придется. Однако усталость брала свое, и я незаметно задремал. Но почувствовал легкий толчок в бок.

– Смотри, смотри, что это?

По гари, со стороны речки, то есть как раз из полосы сухостоя, от его окончания к нам двигалось странное круглое, тепло-желтое светящееся пятно, то исчезая, то появляясь, как будто оно ныряло в неровности рельефа. Первое впечатление – катится вдоль речки мотоцикл, но ни звука выхлопов, ни других звуков не было слышно. Да еще возникало сразу же сомнение: не проехать по этому месту мотоциклисту. Но мотоцикл! Горит фара... А шума нет. Мотоцикл – приведение? И кому это нужно и зачем?

Фокус? Я даже головой встряхнул, недоумевая и не находя никакого объяснения происходящему, тем более что свет фары словно плыл по воздуху, но не рассекал «мечом» тьму, не бросал свет на деревья и кусты. Он был как бы приклеен сам к себе.

Мне было за сорок лет, Зуваиру немного меньше, оба мы находились в том возрасте, когда духовный и физический рассвет личности находится в самом зрелом развитии, когда не верится ни в какие потусторонние силы, тем более, что мы с детства воспитывались в материалистическом понимании мира.

Кто это? – соображал я и не находил ответа, не замечал. Что рассуждаю вслух. – Лиса? Но я хорошо знаю, что глаза

лисы святятся холодным, словно отраженным от консервной банки из белой жести светом. Волк? Но помнится из книг, что из волчьих глаз исходит зеленоватый свет, даже изумрудный скорее. К тому же волк в наших краях, бедных дичью и прочей живностью. Не водятся... Остается одно – медведь. Но почему у него один глаз и к тому же такой большой, с мотоциклетную фару?

– Стреляй, стреляй! – яростно теребил меня Зуваир, когда «фара» замерла на бугре справа шагах в пятнадцати-двадцати от нас. – Стреляй, что ты медлишь?

Я понял двустволку. Но не с целью стрелять. А скорее для отпугивания, инстинктивно, и «фара» мгновенно исчезла.

– Стреляй же ты! – И Зуваир «покрыл» меня матом.

Я подумал и выстрелил вверх.

Некоторое время мы выжидали, внимательно вслушиваясь в тишину, глухую и плотную, но ни одна хворостинка, ни один сучок не хрупнул, не треснул. «Медведь? – продолжал гадать я, предполагая, что молодые медвежата могут отличаться чрезвычайной любознательностью и любопытством. – Но почему глаз один?» Он, что, калека одноглазый? Или глаза у медведя светятся в темноте как одно целое? Как фара? И зачем деревья ломать? Нас пугать? Ожидать, что мы в панике броимся бежать от костра в темноту, в его лапы? Возможно, так можно было спугнуть оленя, сохатого, но зачем? Ведь потребуется длительная погоня, и еще неизвестно, кого она больше измотает: медведь – не стайер, как мне кажется.

Я вспомнил, как еще до затопления мы пятером ездили на мотоциклах из Нижнеилимска к Дунькиному мосту или Цыганскому табору за черникой. Разумеется, все пятеро с ружьями, потому что вероятность встречи с медведями в тех глухих темно-таежных местах казалась нам неизбежной. И расстояние-то было небольшим, от силы тридцать километров, но дорога, дороженька! По глине, по гребню меж глубоких канав, оставленных колесами грузовиков, возящих грузы на Гандюху (так называли Рудногорское месторождение железа). Дорога была заброшена. Так как разведка запасов руды была завершена. Мы остановились у Дунькиного моста на ночлег. Место, прямо сказать, не располагало к лирике: узкой полосой дорога раздвигала тайгу, мрачную, непроглядную; у Моста (настил из поперечных бревен через болотинку, когда едешь по настилу – трясутся и плечи, и грудь, и другие части тела, поэтому и название «Цыганский табор») решили заночевать. Разложили костер, вскипятили из ручейка чай, пока ужинали да «грелись» на ночь, стемнело так, хоть газ коли. Мы, веселые от чудесного ужина, от свежего воздуха, от таежной романтики, сыпали анекдотами и прочей словесной трескотней, как вдруг в паузе в кустах, куда уползал дым от костра, раздалось чиханье, да такое мощное, что мы невольно схватились за ружья и притихли. А Венька, ражий и рыжий матрос (разумеется, бывший) с атомной, как он говорил подлодки, вскинул двустволку и шарахнул дуплетом по кустам.

– Что ты делаешь? – возмутился Юра Певчий, инженер с «Ромашки», стройный тридцатипятилетний «холостяк поневоле» (а все из-за нее. Проклятушей сорокаградусной!). Там же может ягодник быть? Палишь в белый свет, а еще подводник!

– Во-первых, – возразил Венька, ягодники так не чихают, а во-вторых, что он, твой ягодник, в кусты-то забился? Медведь это, понял! Ягодник бы крикнул, а не стал чихать...

Кусты были от нас шагах в десяти, но никакой «фары» я тогда не заметил. А утром мы тщательно обшарили все в кустах, но не обнаружили ни единого следа, не единой шерстинки...

Да, тогда нас было пятеро, а сейчас двое, одно ружье и два ножа на поясе (как ж в лесу без ножа!), ну костер еще.

Тишина между тем ничем не нарушалась, костер мы подживили, он горел ровно и ярко, усталость брала свое, и мы оба преступно заснули, позабыв о посменном дежурстве. Мне решительно ничего не снилось: сон в сосновом бору на свежем воздухе после сна в панельных стенах кажется, да это и на самом деле так, всецело поглощающим человеком.

Проснулся я от гортанного крика гусей, пролетающих высоко над головой. Костер давно погас, тьма не поредела, но что-то рассветное в ней ощущалось. Воздух был удивительно теплым, полиэтиленовая пленка призрачно светилась белым пятном в ногах, так и не использованная нами. Все остальное находилось на своих местах, в том числе и продукты, колба-

са, например, или сало, которое так любил Зуваир. Все так и лежало на газете, как оставили после ужина. Двустволка под боком, сладко похрапывал Зуваир. Я выключил фонарик и решил подремать до полного рассвета.

Над головой прошелестели невидимые утки, совершая утренний перелет на кормежку или с кормежки, кто их разберет. Я решил не спать, надеясь пострелять уток влет, как только чуть развиднеет, но с наступлением рассвета прекратился и перелет уток.

Зуваир все еще спал, держась правой рукой за рукоятку ножа в ножнах. Я улыбнулся и пошел на берег, держа двустволку наготове, если на воде окажутся утки. Их не было. Тогда я вдруг заделался Шерлоком Холмсом и стал выискивать следы и признаки присутствия ночного гостя. Однако возле поваленной сосенки на довольно густой и колючей чаще не осталось ни шерстинки, на песке по склону, где ночью «вытворяла фокусы» «фара», тоже не удалось обнаружить ни малейших признаков присутствия зверя.

Сам Шерлок Холмс пришел бы в полнейшее недоумение, ая, так как в школе не преподавали «дедуктивные методы», находился в том состоянии, когда на все машут рукой, вернулся, разбудил сладко улыбающегося во сне Зуваира и стал разводить костерчик, чтобы вскипятить утренний чай, потому что кофе мы не захватили, а если честно, просто-напросто не были к нему приучены, считая кофе забавой бездельников и господ-иностранцев.

Плотная облачность незаметно не то уплывала на восток, не то растворилась в бесконечности небес, уступая место дневному светилу, ало поднимающемуся над заречным темно-хвойным хребтом, не тронутым ни пожарами, ни безжалостным топором.

Поднялся к родничку, набрал воды, попутно проверил, нет ли у него медвежьих следов на песке (вдруг пить приходил?), но ничего не обнаружил и окончательно махнул на все рукой: надо было думать о ягодах...

Либо сторож нас обманул, либо дал старые сведения, но ягод в таком количестве, в каком ожидали, мы не нашли, с трудом набрали по ведру (илимская мера, на глазок, конечно!) и отправились часов в пять обратно, так и этак гадая о «фаре».

Ребята перевезли нас через водное пространство. Мы прошли в гараж. Там дежурил другой сторож. «Запорожец» преданно поджидал хозяина.

– Нашли кого слушать, – сплюнул сторож. – Это же трикалка, он вам наговорит, только слушайте! Надо было идти к триангуляционной вышке, этот ближе в два раза, и там брусника всегда имелась... Угнал он вас к черту на кулички...

– Кстати, – спросил я, – вы не видели, как светятся глаза медведя ночью?

– Нет, – ответил сторож, – ночью я стараюсь спать.

– Ну, может, слышали от кого?

– И не слышал. А зачем это тебе?

Я поведал ему о нашем ночном видении. Он выслушал и заявил, что это,

– А кто повалил деревцо?

– Да, – почесал затылок сторож, задача с двумя иксами. Мы уехали в Железногорск. Я спрашивал встречных поперечных о странном явлении, но никто ничего вразумительного мне ответить не мог.

Двести шагов

Их, шагов может быть, было и больше... Не в этом дело. Она шла рядом и почти прижималась к его плечу. Он, Анатолий Ильич, ягодник сегодня, а вообще-то пенсионер приятной наружности, среднего роста, покладистый и добродушный, вызывал симпатии окружающих, знающих его, молодых и старых. Каждый чуял в нем душевного человека.

...И вот идет она слева от него, девчужка, юное существо, от которого исходило что-то возвышенное, чистое, не тронутое еще никакими жизненными потрясениями и ни чем другим, что накладывает на человека нежелательные отпечатки. Он не думал о том, что думает она, так легко шагая с ним бок о бок. Ему не хотелось ни о чем думать, охваченному странным, давно не испытываемым чувством противоречивости желаний и решений разума, приземляющих его. Ему хотелось, чтобы эта неспешная ходьба (а что делать, если ноги сами не хотят идти быстрее?) никогда не кончилась, чтобы приподнятость, сменяющаяся опустошенностью, повторялась и повторялась, мучая его смутной похотью, тут же изгоняемый трезвостью рассудительности: все-таки он годится ей в дедушки, а это что-нибудь да значит.

Сосновый бор сиял торжеством солнечного дня конца августа.

Великолепные вековые деревья стояли редко и словно на-

слаждались ласковым теплом и обильным светом послеобеденного времени. Между деревьев росли ольховые кусты, разнообразя и без того дивный пейзаж. Серо-белый мох с вкраплениями брусничных ростков мягко вминался под ногами, и над головой висело бездонное голубое небо с барашками белых невесомых облачков.

– Как тебя звать? – догадался наконец-то спросить Анатолий.

Ильич, досадуя, что не знает, о чем говорить с девушкой.

– Оксана, – ответила она слабым голосом, в котором еще чувствовался непрошедший окончательно страх и подавленность.

Анатолий Ильич, бывший бухгалтер (как ни удивительно) остро чувствовал красоту не только природы. Находясь с молодых лет за бухгалтерским столом, он имея крестьянскую, по наследству, закваску, в свободное время стремился на реку порыбачить, в поле – заготовить на зиму картошку, овощи; в лес – набрать грибов, ягод, и все время уголком глаза наблюдал за окружающими пейзажами, стараясь вырвать из общего что-то частное, отдельное, как бы это делал художник, выбирающий сюжет для этюда или картины.

Будучи женат на учительнице начальных классов, до сих пор сохраняющей стройную фигуру и почти не постарелую на лицо, он мало обращал внимания на женщин, с которыми приходилось работать, тем более на тех, которых случайно встречал в таких местах, где можно было бы без риска заве-

сти «шуры-муры», роман ли, разнообразив таким образом унылое существование преданного мужа, отличного семьянина, отменного работника и т. п.

Детей вырастил. Сын женился и, как стало модным, отделился, жил своей семьей; дочь выучилась, вышла замуж, родила ребеночка и жила в далеком городе... Что его, Анатолия Ильича, могло еще связывать семейными узами, что еще мог он потерять?

А она, эта случайная попутчица, шагая рядом, почти касаясь его плеча, и казалась такой воздушной, доступной, единственной...

Анатолий Ильич понимал, что он старый, но не хотел в это верить, ничуть не чувствуя себя старым. Похоже, что ему по-прежнему лет тридцать-сорок. Он был в мужской силе, до сих пор незнакомый с обидным словом «импотент». С другой стороны, он мужчина и может поступать, как мужчина, испытывающий страстное желание, а с другой стороны, он человек, уважающий в себе этакое кабинетного рыцаря, и должен вести себя по-рыцарски...

Она шла рядом, трепетная, исполненная достоинства, что ли, а скорее всего, природной грации, так свойственной почти всем девушкам ее возраста...

И он идет рядом с юным созданием, этой девчушкой, волнующей не красотой не красотой лица, нет, хотя и эти большие серые глаза, и этот мягко очерченный рот с алыми губками, и этот вздернутый кончик носика, и высокий, туго обтянутый

кожицей лобик – всё это вызывало трогательную нежность в душе и какое-то умиротворение, что ли... И еще эти легкие завитки русых мягких волос возле розовых ушей, тонко просвечивающих...

Золотистые стволы сосен, бархатная зелень крон, причудливые зигзаги и извилины ветвей, темная зелень ольховых кустов настраивали Анатолия Ильича на лирический лад, на восторженность, а эта девушка, доверчиво-обаятельная на интимность, давно забытую, как реальность, как что-то невозможное. Он с трудом сдерживался, чтобы не объяснить девушке, какие чувства владеют им, приекрасно понимая всю несуразность такого поступка.

А она шла рядом с ним, и он незаметно косил глаза в ее сторону, боясь показать, что она интересует его не как внучка или запоздалая дочка, а как нечто возвышенное, божественное.

«Интересно, – подумал он, – сколько же ей лет, – но спросить прямо постеснялся, сам не зная почему, – на вид пятнадцать-шестнадцать. Самый завидный возраст, когда ее загадка и таинственность, романтика и желание кое-что испытать...»

– Ты в каком классе учишься?

– В десятый перешла, – ответила она поспешно, и как будто ждала этот вопрос, – вообще-то я должна учиться в девятом, только классы передвинули на год вперед...

Девушка шла рядом, почти касаясь его плеча своим пле-

чиком. Это трогало глубоко, вызывало смутное беспокойство и опять-таки желание овладеть ею, но он даже мыслей таких стыдил.

Я и едва ли не краснел, словно мальчик понимал, что девчушка может вдруг догадаться, о чем он думает. И сказать: «— Вот, старый дурак, что у него в голове!»

Анатолий Ильич, погруженный за время долгих лет в бухгалтерские книги, отчеты и прочую скукоту, не очерствел окончательно душой. Иногда он вырывался на курорты Черного моря, где посещал пляжи, на которых не бывал лет до сорока, потому что жил в местах, одолеваемых летней мошкаррой. Какое в них загорание! Дай Бог выкупаться да успеть одеться, пока несметный полчища кровососов не впились в обнаженное тело тысячами игл.

На пляже он насмотрелся почти голых женщин во множестве и всяких. И тонких. И толстых. Они не вызывали в нем никаких чувств, кроме жалости, и то скользкой, неглубокой. Видел и удивительно стройных, на которых глаз невольно замирал в почтительном уважении и некоторой зависти, но похотливых чувств почему-то не испытывал, словно смотрел на что-то далекое, недостижимое для него, обыкновенного, даже не старшего бухгалтера, который за цифрами не видел ничего другого, кроме обыденных забот и сохранения за собой авторитета порядочного человека...

И вот идет рядом с ним девчушка, при виде которой в нем пробуждается что-то давнее, влекущее тайной неизведанно-

го и полузабытыми ощущениями его первой любви. Его поражало ее способность «чувства локтя». Он обходил колодину, и она, как приклеенная к его плечу, предугадывала этот обход, он поворачивал направо или налево, и она поворачивала одновременно, словно читала его мысли.

Это его восхищало, он с удовольствием отмечал, какая она поводливая, то есть послушная, качество далеко не худшее, если глядеть на него глазами ухажера-любовника.

А она шла, и ему казалось, что идет с ним едва ли не божественное создание, что от нее исходит что-то необыкновенное, светлое, как летнее утро перед восходом солнца.

А было как?

Они, Анатолий Ильич, его жена и дородная сватья, приехали за сто шестьдесят километров собирать бруснику в такой далекий, такой милый сосновый бор, в котором бывали не раз в ягодные сезоны, выезжая сюда, как на отдых и праздник души.

Брусника уродилась плохо, встречалась редко, и ягодники, проездив часа два в ее поисках, остановились наконец там, где она, пусть и стрень-брень, все-таки попадалась. Женщины принялись собирать ее по ягодке, но Анатолий Ильич все еще не терял надежды нарваться на более подходящую «плантацию» и в поисках совершал «вояжи» в разные стороны, каждый раз возвращаясь к женщинам, огорченный безуспешными поисками. Два раза сходил попроведать «жигуленка», останвленного без присмотра на опушке

лесосеки (метрах в двухстах-трехстах от места сбора ягод) у старой лесовозной дороги, избитой, измятой, с глубокими песчаными колеями, конечно, отогнав машину в сторону метров на пять.

У женщин между тем ведра наполнялись, и ему пришлось-таки приняться за сбор. Однако после обеда он снова отправился в «путешествие» за ближайшую чашу, где еще не был. Ягод не оказалось и там. Пошлялся еще немного вокруг да около, решил вернуться, и этот солнечный день померк в его глазах, сосны уже не казались такими золотистыми, голубое небо не поражало глубиной, а яркие лучи, исполосатившие мох, утомляли резкими перепадами света и тени. Решил вернуться.

Еще издали увидел, нет, почувствовал некоторое изменение в обстановке. Он пока не понял, что случилось, вероятнее всего, кто-то отбилсЯ от своих и наткнулся на них, потому что жена стояла, объясняя что-то кому-то. И был недалек от истины, увидев рядом с женой девушку лет пятнадцати-шестнадцати. Он мельком взглянул на ее стройную девичью фигурку, на белую кофточку тонкой шерстяной вязки и невольно задержался взглядом дольше, сем полагалось в его возрасте на небольших упругих грудках, так откровенно и незащищено возвышающихся из-под кофточки, потом нехотя перевел взгляд на узкие джинсовые брюки, на новые белые кеда с полосками и почему-то спросил торопливо:

– Что случилось?

– Вот, заблудилась, – ответила жена, – объясни ей, куда идти.

Ты откуда? – спросил он, невольно отмечая, что девушка ему не просто нравится, что в ней есть что-то такое, что трудно, а может, и невозможно объяснить словами.

– Из Нового...

Поселок Новый недавно, года три-четыре назад, стал возникать в чудесном сосновом бору на ровном месте, и если сейчас забраться на вершину самой высокой сосны, то километрах в шести отсюда можно было увидеть панельные пятиэтажки в окружении сосен, поэтому Анатолий Ильич стал объяснять девушке, как пройти напрямую при помощи солнца к поселку. Увидел по ее глазам, по тому, как она тупо и потерянно смотрела на него, что она ничего понять не в состоянии, должно быть, сильно потрясенная случившимся с ней происшествием. Она словно пыталась сказать: – «Не объясните мне ничего! Я заблудилась, я перепугалась, я полна жуткого страха, а лучше проводите меня до поселка».

Конечно, ее следовало проводить до поселка, только как же тогда брусника? И так сколько времени потеряно... А ехать на машине рискованно: можно забуксовать в этих зыбучих песках и тогда попробуй выбраться из песчаного плена... Жди-пожди, когда подвернется помощь в виде какого-нибудь грузовичка...

– Ты зачем в лет одна пошла? – спросил он строго и тут же пожалел, что спросил строго: сам не раз блудил в лесу и

знал, как сначала приходит паника, потом страх, потом отчаяние, а тут девчушка! Слабое, робкое создание! Для нее лес не комната...

– Я не одна пошла, а с братом и другом брата... По грибы...

– Как же ты заблудилась?

– Я не заметила, как брат с другом исчезли.

– Что же ты не кричала?

– Я кричала. Даже охрипла... корзину потеряла... Я боялась... Мне мерещились леший, ведьмы, медведи...

– Проводи девушку до машины, – сказала жена, – укажи дорогу. Анатолий Ильич посмотрел на жену внимательно: ему показалось, что она должна ревновать его к этой красоте, к этой свежести, чистоте, но жена уже собирала ягоды, ей, пожалуй, и в голову не приходило: старый конь и это небесное создание, это юное существо! Что может быть нелепее?

Ему даже обидно стало, подумал: «И не боится отпустить меня с этим ангельским созданием!»...

Они пошли. Анатолий Ильич и это скромное, юное, чистое существо, должно быть, все еще не верящее в благополучное возвращение домой, к маме, папе, брату: страшный, бесконечный бор окружал ее, пугал темными чащами, даже ольховыми кустами. Анатолий Ильич понял это и спросил:

– Ты, что, в лесу не бывала?

– Так далеко – нет. Тем более одна. Мы с Украины недавно приехали. Там таких лесов нет... Страшно-о! Брр!

Анатолий Ильич усмехнулся: страшно! Да после «химиков» и лесозаготовителей в этом и без того бедном дичью лесу не осталось даже кузнечиков, не то что медведей... Впрочем, у медведя нет постоянной прописки, может и прийти откуда-нибудь...

Он оглянулся: жена и сватья скрылись за деревьями. Слева и справа высились красавицы-сосны, между ними таинственно зеленели ольховые кусты и расстился серо-белый мох, притягивающий к себе взгляды Анатолия Ильича. Он понимал, почему мох интересовал его, но не мог понять, как бы он мог поступить, чтобы девушка легла на этот мох, хотя ему показалось, что она, напуганная, беззащитная, отчаявшаяся, могла бы согласиться: жизнь-то дороже! Конечно, чувствовать это она не могла лишь интуитивно, не очень осозная, что делает, поглощенная одним желанием уцелеть, спастись, вернуться!

А он, Анатолий Ильич, выступал сейчас в роли ее спасителя.

«Ведь она мне во внучки годится, – всплывал некстати предостерегающий фактор, и он опускался «с небес на землю», становился обычным ягодником, стыдясь пошленькой похоти, так невежливо появляющейся и так же исчезающей, когда он вспоминал, кто он.

И тут же ругал себя за врожденную робость, которая мешала ему во многих случаях, так называемых возможностей проявить себя в роли Дон Жуана с бухгалтерской душой.

Вспомнил, как в далеком-далеком детстве ездил он за травой в придеревенские луга. С ним напросилась Зинка, ровесница, которая ему нравилась.

Поехали обратно. На свеженакошенной траве лежала Зинка и словно говорила: «Вот я, бери меня, делай со мной, что хочешь».

Конь шагал степенно, устало. Подросток не погонял его, хотя дома ждал ужин.

Но в телеге лежала Зинка. Она смущенно молчала. Он изредка косил глазами в ее сторону, молчал и краснел при мысли, что понимает настроение ровесницы. Только это было запретом, тайным, стыдным, хотя и желанным...

Так и доехали до деревни. Зинка спрыгнула с телеги, облегченно вздохнула и убежала домой. Он тоже почувствовал освобожденность, непонятную грусть и непривычную пустоту...

Вот и сейчас, шагай с этой славной девчушкой, Анатолий Ильич чувствовал такую же скованность, как в далеком детстве, и ему становилось стыдно, что в его возрасте испытывать робость, по меньшей мере, дико и несуразно.

А она прижималась к его плечу. Почти прижималась. А, может, ему это только казалось? Или хотелось, чтобы она прижималась.

Ему захотелось потрогать ее рукой, прикоснуться к ее плечу, нет, плечу! Но не посмел. А почему? Господь знает... Наверное, потому что робок. И это в шестьдесят лет!

А она касалась его плеча.

Он все-таки протянул руку и взял ее за кончики тонких пальцев, гибких и мягких, словно в них не было косточек. Она не отняла их, и Анатолий Ильич почувствовал, как переливается из ее пальцев в его руку что-то теплое, неживое, трепетное. Он тут же очухался и заговорил наставительно, по отечески:

– Сейчас выведу тебя на дорогу, покажу и объясню, как дойти до поселка. может, тебя догонит какая-нибудь машина, но к одиноким водителям не садись: опасно! Садись, если есть пассажиры. Она будто не слышала его или не слушала, все так же размеренно шагая рядом, легкая, воздушная, неземная...

Вот и поваленные деревья с рыжей хвоей, вот и опушка. Вышли в разлитое солнце, словно из комнаты на улицу. Вот и дорога с почти белым песком, и «жигуленок», дремлющий под теплыми лучами.

Анатолий Ильич стал терпеливо объяснять девушке, как пройти к поселку. послышался шум мотоцикла, к ним подкатил молодой, лет тридцати, мотоциклист, оглядел их изучающее. Люлька и сиденье были пусты. «Не садись!» – хотел сказать Анатолий Ильич, но девушка ловко оказалась в коляске, и мотоциклист покатил к поселку, а ягодник долго смотрел им вслед и жалел, что не расспросил мотоциклиста, кто такой да откуда... Что он за человек?

Прощай, Оксана! Прощай, сердынько!

Огненный змей и бабушка

Давно дело было, в 1937 году. Напротив села Нижнеилимска, через реку приютилась наша деревня Погодаева, в которой мы жили – бабушка Аксинья, ее сын Иннокентий, я, восьмилетний ученик начальной школы, и шестилетний братик, лобастый заскребыш, смелый и громкоголосый.

Бабушка, костлявая, высокая, с бельмом на левом глазу, свято верила в Бога, каждое утро молилась в угол, где висела икона, изображающая Георгия Победоносца, поражающего тонким копьём Змея Горыныча: она становилась на колени, сгибалась в пояснице, часто-часто касалась лбом половиц.

Жила она в комнатке, где стояла деревянная кровать, застеленная пестрядиной, имелась лавка, а недалеко спали в своей кровати мы – я и братик, наблюдая с усмешкой за «физзарядкой» старушки. В конце концов нас стало это веселить.

– Бабушка, а ты лоб не расшибешь? – спросил я, пугаясь собственного нахальства. И братик поддержал:

– Бауска, пожалей лоб-то! Ага-а, ага-а...

– Цыть, вы! – сердито заявила бабушка. – Вот Бог-то вас накажет, вот он вас...

– Нету, бабушка, Бога, – не сдавался я, и братик тоже:

– Нету никакого Бога!

– Кто вам сказал, что нету?

– Учительница в школе.

– Ваша учительница – анчихрист! Бог ее накажет...

– Как же он ее накажет, если его нету?

– Есть Бог, есть, настаивала бабушка.

– Нету, нету! – в один голос уверяли мы.

– Вот прилетит Огненный змей – он вам задаст!

– Нету никакого змея: выдумка это...

– Есть, есть Огненный Змей! Я сама выдела его своими глазами... Из-за яра вылетел... гудел страшно, хвост огненный за ним тянулся... Стекла в избе дрожали, собака выла-выла и залезла в конуру, куры в подамбарье спрятались.

И столько в голосе бабушки было убежденности, что мы даже засомневались: вдруг и в самом деле есть огненный змей?

И все-таки не верилось...

А зря! Будучи студентом, вычитал в журнале «Вокруг света» статью о Тунгусском метеорите, который пролетал над нашей местностью в 1908 году, то есть тогда, когда бабушка была относительно молодой. Я запоздало почувствовал угрызения совести: значит, огненный змей был!

...Отец мой, бабушки сын, имел высокий рост, плотное телосложение, кое-какую, по тем временам неплохую грамотешку, поэтому работал то председателем колхоза, то руководителем курсов РАЙЗО, то преподавателем на курсах колхозных счетоводов.

Разумеется, был и членом партии, и активистом видным.

Наступили опасный времена – годы репрессий, когда можно было крепко пострадать за малейший, казалось бы, пустяк. Из предосторожности отец снял со стены икону с Георгием Победоносцем и сжег ее в печке. Мы оказались невольными свидетелями такого на наш взгляд разумного поступка.

– Это куды же икона-то подевалась? – спросила утром бабушка, подозрительно поглядывая на нас.

– А ее папка в печке сжег, – сказал братик.

– Ах, он анчихрист, ах, анчихрист! – рассердилась бабушка и предложила: А ну-ка, унучик, ставь на лавку и выучи стишок, а как вечером отец приплывет с работы – ты ему и расскажи стишок-то. Вот, учи...Память-то у тебя ладная:

Ехал Ленин на полене
Через Киренгу-реку.
Ты куды, плешивый, едешь?
В Бочкареву по муку...
И ишшо:
Когда Ленин умирал —
Сталину наказывал:
Людам хлеба не давай,
Мяса не показывай!»

Приплыл с работы отец, братик резко выскочил на лавку и детским восторгом продекламировал «стишки».

Отец удивленно выслушал сына и спросил:

– Это кто же тебя этому научил, – и взял сына за ухо.

– Бауска! – сознался братик.

– Ах ты, старая! – искренне обиделся отец, ты, что же, хочешь, чтобы твой сын в Колыму загремел?

– А ты зачем икону сжег? Помешала она тебе? Анчихрист ты, анчихрист... Ето надо додуматься, чтобы икону спалить! Грех-то какой!

Надо сказать, что в селе, да и деревне тоже еще оставались бывшие политссылные, которые тайно занимались угодной им пропагандой, нацеленной на существующий режим. Конечно, действовали они не очень осторожно, пользуясь тем, что в селе была разрушена церковь, которая, может быть, не являлась памятником архитектуры, но тем не менее придавал селу вид весомый и благородный. разумеется, старушкам нравились «стишки» против «анчихристов».

Братик не удержался и ребятам на улице не раз и не два «декламировал» их, к сожалению, не догадываясь, что их могут услышать и взрослые. И услышали, и сообщили куда повыше. Отца арестовали, сняли с работы, исключили из партии, увезли в областной центр. Следователь оказался человеком добрым, выслушал отца, нашел «вину» незначительной: отца освободили, он вернулся домой, и его восстановили в партии и на работе, а бабушка так и осталась без иконы, хотя молились еще усерднее, что-то нашептывая и крестясь.

Встречи с Валентином Распутиным

Для начала хотелось бы «пофилософствовать» на тему: везет не везет! В Иркутской писательской организации яркими явлениями в послевоенное время оказались автор «Даурии» К. Седых, потом – Г. Марков, автор «Строговых», после блеснул Машкин своим «Синим морем, белым пароходом». Станислав Китайский «выдал» роман «После сражения»... И вдруг!!! Смелое, дерзкое по тем временам произведение – «Прощание с Матерой». Это поставило автора в число тех, чье имя хотелось произносить вполголоса, шепотом, настолько необычно ставил автор проблемы отношения к природе, явно протестуя против затопления плодородных земель и против лишения жителей их малой родины.

Сам Валентин Распутин родился и вырос на берегах Ангары, в местах, которые вскоре попали под затопление, но в «Прощании с Матерой» звучит не личная обида автора, а через автора возмущение жителей, которым тяжело расстаться с прошлым, с традициями.

Вторым, достаточно смелым произведением автора, явилась не менее смелая повесть «Живи и помни», в которой освещалась не тронутая еще тема дерезртирства с фронта. Все это сделало имя автора почти легендарным. Его читали, устраивали конференции по его книгам, писали в школах сочинения...

Я старше Валентина Григорьевича Распутина почти на девять лет. Всегда интересовался литературой, особенно такой, от которой «несло» смелостью, необычностью, что в наше время, и довоенное, и после военное вплоть до «горбачевщины», было небезопасно, хотя, честно говоря, ее, такой литературы, и не встречалось. А тут – Распутин! Как мне захотелось увидеть его... Жил он в Иркутске, а я в Железнодорожке – Илимском, тоже вынесенном из зоны затопления. Расстояние между ними тысяча километров, если поездом, и четыреста – если самолетом (в те благодатные времена, не теперь). Работал я в школе, вел черчение и рисование, и вот – повезло! Отправили меня на курсы усовершенствования учителей в Иркутск. И случилось это в году эдак в 1962–65-м (точно не помню). Удача? Удача!

Стал я с настойчивостью фаната и идиота ходить в свободное время по тем улицам, где предположительно мог появиться Распутин: очень мне хотелось увидеть человека, слава о котором так широко расшагалась по белу свету...

Надо заметить, что в Доме литераторов, куда я принес на «пробу» свои стихи, удалось встретиться со знаменитым, хотя бы в Иркутске, поэтом Петром Реутским. Он детально «разобрал» мои «творения», кое-что похвалил, кое-что поругал за торопливость, за недостаточную требовательность к себе и пригласил к себе на квартиру. Посидели за рюмкой, жена, кстати, очень красивая и стройная, не пыталась упрекать мужа, любителя выпить.

Зашел разговор о Распутине. Естественно, что Реутский, как член Союза писателей и как житель Иркутска, часто встречался с Распутиным. Реутский под глубоким секретом дал мне адрес Валентина, засекреченный от любителей знаменитостей.

С этого дня я стал пропадать на лестничной площадке пятиэтажного громадного дома, бывшего обкомовского. Но неудачно.

Встреча, неожиданная и поэтому взбаламошная, произошла в 1979 году на семинаре творческих личностей. Я сидел и сочинял дружеский шарж на Станислава Китайского, который, подтянутый, стройный, грозил подвергнуть всех жесточайшей критике, потому что он – Китайский (в те времена отношения с Китаем были натянутыми до предела). Шарж удавался:

*Он – выправки к гаврдейской,
Характер – самурайский,
И с прямою еврейской
Твердит, что он – Китайский...*

В Доме литераторов шел ремонт. Вышли покурить. Я решил «проверить» шарж на «любителях». В это время из-за шкафа вышел крепкого телосложения человек, выше среднего роста. Сердце мое екнуло: Валентин Распутин!

Да, это был он. Я бросился к нему с рукопожатием (смелость или наглость?) и стал благодарить его от имени

илимчан за повесть «Прощание с Матерой». Он почему-то раздраженно бросил:

– Ваши илимчане ничего не читают!

Это меня слегка покорибило, но уверять, что все земляки мои прочитали повесть, я не мог, хотя Илим постигла та же участь, что и Анггару, да еще в большей степени.

Вторая встреча, печальная для меня, произошла через день, когда в перерыве между заседаниями секций зашел в курилку Распутин, выпил стаканчик воды и стал у стены. Я осмелел и начал рассказывать, как на Илим (в райцентр) приплывали жители Нижней Анггары, сдавали хлеб в «Заготзерно», ставили лошадей в лодки – илимки и самоплавом (вниз по течению) отправлялись обратно, а на радостях пели песни, да так славно, что илимчане вываливали на берег послушать слаженное пение и выражали восторг:

– Ну Анггара дает!

Что-то Распутину показалось обидным в этих словах, и он, как бы защищая Анггару, заявил презрительно:

– А у нас говорили: вон илимские турсуки и Иркутск поперли!

У нас говорили не турсуки, а трусуки, попытался сказать я вслед, но не уверен, услышал ли он эти слова. Мне стало понятно, с какой сверхлюбовью воспринимает Распутин все, что относится к Анггаре. С какой обидой, если видит отсутствие почтения к ней.

В этот день я совершил еще одну трагическую ошибку,

решив дать на рецензию свою рукопись «Приискатель» Распутину. В повести я передал свое детское восхищение некоторым довоенным успехам колхозной жизни в родной деревеньке.

Надо сказать, что перед этим я имел блестящие отзывы о моей повестушке «Ехин фарт» и «Хочу лису», данные писателем Владимиром Жемчужниковым, поэтому был уверен, что и Распутин похвалит меня. Но...

«Приискателя» Валентин Распутин взял, но сказал, что сможет прочитать его только дня через два. Эти два дня оказались мне пыткой: я боялся, что Распутин припомнит мне «Ангару», слова которые я произнес все-таки с некоторой долей презрения, смешанного опять-таки с восхищением, но надеялся на великодушие «асса».

И вот настал день моей «казни». Распутину повесть не понравилась, он заявил, что получилось подобие правды, что колхозы так жить не могли, что я сильно приукрасил жизнь.

Я растерялся, спросить не решился, хотя на моей стороне были «козырные карты»: это разница в возрасте! Да! Девять лет. Распутин знал деревню послевоенную, периода страшной разрухи и нищеты, а я знал ее, деревню, еще довоенную, когда тем, кто остался в ней после раскулачивания и репрессий, терять было нечего, им оставалось «быть или не быть», «жить или не жить»!

Они выбрали «жить», взяли кредиты и стали заниматься строительством фирменных коровников, свинарников,

конюшен, закупать жатки, сенокосилки, купили «дизель», трактор ХТЗ. И получили в 1940 году небывалый урожай, хлеб возили по амбарам возами, накупили велосипедов, патефонов, костюмов и т. п. Казалось, живи и радуйся, но нашему народу никогда не везло: Финская кампания, Отечественная война отбросили деревню в нищету.

Возможно, Распутин, услышал такие доводы, мог бы согласиться, что получилась все-таки правда, а не ее подобие. Только после драки кулаками не машут. удивительно другое – меня успокаивали: кто тебя раскритиковал? Сам Распутин! И странное дело: я не огорчился ни на грош, будучи уверенный в своей правоте.

Потом во время заседания секции прозы пытался делать в альбоме для рисования наброски с писателей, в том числе и Распутина, которые бережно храню с 1979 года.

Будучи на курорте «Усолье», позвонил Распутину на квартиру с просьбой почитать моего «Дедушку Тирдачку» и дать отзыв.

К великому моего удивлению, Распутин согласился, и вскоре я получил положительный отзыв, правда с пожеланиями еще поработать над некоторыми местами. Вот что значит отзыв маститого писателя, и я увидел «Дедушку Тирдачку» в солидном сборнике иркутских писателей «Повести». Это еще тогда, когда платили гонорары.

Все мои попытки вступить в члены Союза писателей наткнулись на невидимое сопротивление некоторых членов. На-

пример, повесть «Поселенец» получила восторженный отзыв Станислава Китайского, который заявил, что «Поселенец» мог бы стать явлением не только в иркутской литературе, но в то же время она попала в руки братчанина Геннадия Михасенко, которые ее беспощадно «зарезал», я уверен, не читая: лезут, мол, в литературу всякие, а мы на что жить должны? «Поселенца» я издал на деньги спонсоров, и повесть пользуется неизменным успехом среди читателей, требующих издания ее в более солидном виде, а не в районной типографии.

Мне говорили: чтобы стать членом Союза писателей, надо иметь две отдельно изданные книги, хотя в сборниках у меня напечатанного было на три и четыре, и пять книг.

Словом, не везло! Я вообще невезучий!..

Бывали ли еще встречи с Валентином Распутиным? Бывали, но эпизодические, кратковременные, случайные. На илимской земле он больше не появлялся с тех пор, как приезжал еще до затопления долины Илима водами Усть-Илимской ГЭС. Что-то ему требовалось уточнить, проверить, почувствовать.

Не лежит туда дорога, отвечал он, когда его спрашивали илимчане...

В этом году ряд газет очень широко и подробно отметил 70-летие знаменитого писателя, который в последнее время стал более публицистом, пишущим такие объемные статьи, что не всякий из читателей возьмется за их чтение.

Стал он замкнутым, но простым, «воевал» с любителями гробить природу, бился за нравственность человека и человечества.

Егоркина страсть

Рассказ

Года за два или за три до войны это было. Придя из школы, Егорка набегался, накатался на лыжах, а когда свечерело, вбежал в избу, разделся и в ожидании ужина присел на поленья у топящейся железной печки, на которой мать, невысокая, ловкая, разогревала ужин и кипятила чай.

Грузно вошел в дверь отец, каждый раз поражая Егорчику высоким ростом и сумрачным лицом. Он присел на диван, надел очки и развернул сегодняшнюю газету «Восточно-Сибирская правда».

Мать бросала на мужа недовольные взгляды, словно хотел и не могла обидеться: вот всегда так, себе читает, а до нее и дела нет. Но она побаивалась мужа. Егорка отца тоже побаивался.

Пришел с работы старший брат Михаил, помыл руки, достал из кармана тужурки журнал «Красноармеец» и стал перелистывать поблескивающие тонкие страницы с иллюстрациями.

Егорка учился в третьем классе, являлся членом редколлегии стенгазеты «Пионер» и всегда чувствовал трепет газетами и журналами. Он завидовал отцу, завидовал брату, которые трудились наборщиком в районной типографии и готовился к службе в Красной Армии. Они читали свои газеты,

свой журнал, а у него не было ни того, ни другого, и он не мог, набегавшись, сесть за стол и почитать свою газету.

Егорка подскочил к брату:

– Дай посмотреть!

– Молоко на губах не обсохло, – с усмешкой сказал брат и щелкнул Егорку по носу, – рано тебе...

– Рано, рано, – заворчал паренек, – всегда так. А я хочу!

И стал заглядывать в журнал через плечо. Увидел на картинке: два всадника на красивых лошадях сражаются саблями. Внизу надпись: «Кисть руки офицера вместе с клинком отлетела».

Брат сказал строго:

– Не мешай, схлопочешь!

Егорка обиженно поджал губы и отошел в сторонку. Вдруг ему явилась славная мысль: надо выписать себе газету, свою!

Егорка преодолевая робость, приблизился к отцу:

– Тять, а тять!

Отец буркнул, не отрываясь от газеты:

– Чего тебе?

– Дай денег.

– На что?

– Газету выпишу.

– Хорошее дело. Но где я тебе денег возьму? Заработай и выпиши.

– Я еще маленький...

– Ничего себе маленький. Я в твои годы пахал и боронил,

двух сестер кормил.

(Отцов отец умер, когда сыну шел двенадцатый год.)

– Как я их заработаю?

– У тебя на плечах кочан капусты или голова? Вот и думай...

Чернобородый коренастый дедушка Филипп состоял в деревне почтальоном, разносил по избам газеты, журналы, письма. Охотно вступал в разговоры.

– Дедушка, а дедушка, – обратился к нему на следующий день Егорка, как на газету подписаться?

– Проще простого: давай мне деньги, а я тебе квитанцию выпишу... Тебе какую? «Пионерскую правду» или «За здоровую смену»?

– Мне был «Илимский партизан». – Местную, значит. Баско!

– Но у меня нет денег.

– Дак о чем разговор...

Пошел дедушка дальше, а Егорка голову повесил и не заметил, как к нему синеглазый друг Колька приблизился.

– О чем задумался? Пойдем на санках с угорка кататься.

– Не, – сморщился Егорка, – мне был денег заработать где.

– Ого-о! – удивился Колька. – А зачем тебе деньги?

– Хочу на газету подписаться.

– А я был складешок перочинный в раймаге купил, – мечтательно протянул Колька, – если бы деньги были.

– Вот я и думаю о них.

– А знаешь, – поднял Колька палец вверх, – я, кажись, придумал!

На следующий день в лесу за деревней, в старой гари, где стояли без коры погибшие сосны, стучал топор и вжикала пила. Ребята валили посильные деревья и пилили их на дрова.

– Вот и будут у нас деньги! – заявил Колька. Завтра выпрошу у бригадира Чалку и продадим дрова Марье Денисовой. У нее муж недавно умер, детей обогреть надо, еду готовить...

– Будут, будут! – радостно подхватил Егорка и запечалился.

– Ты чего?

– А вдруг у нее тоже нет денег?

Марья, конечно, дрова купила, еще и спасибо сказала. За стол ребят усаживать чай пить, но они отказались: им не терпелось выскочить на двор, отогнать коня с санями на конный двор и поровну поделить честно заработанные деньги.

...Дедушка Филипп выписал квитанцию, пожал маленькую Егоркину ручонку и сказал:

– Дак читай, набирайся ума – с Нового года пойдет тебе газета.

Егорка торопил дни этих двух оставшихся до нового года месяцев, нетерпеливо срывал утром листок настенного календаря, поглядывал на проходящего дедушку Филиппа, который усмехался в бороду:

– Ждешь?

– Жду.

– Молодец!

Взяли в армию брата, застучали морозы, снег стал глубоким.

И вот наступил Новый год. Пришла Егорке газета. Свежая, пахнувшая типографской краской. Егорка бросился к окну, торопливо заскользил глазами по заголовкам, потом уселся на диван и степенно, как отец, углубился в чтение. Его грудь распирала гордость. Он был сейчас счастливейшим человеком в мире, хотелось побежать к ребятам, поделиться радостью. Еще бы! Не каждый из ребят имеет свою газету.

Воспитатель дед Филипп

В деревне легкий зной и власть послеобеденного покоя. Даже воробьи и куры притихали. Люди спят в темных сенцах, кладовках, амбарах. Часа через два им снова идти в поля полоть посевы, возить на пары назем, достраивать длинные колхозные конюшни, крыть их тесом – роскошь, невиданная раньше при единоличной жизни.

Егорка и Юрка, семилетние карапузики, пользуясь полной свободой, облазили все гумна и овины, как бы ничейные после коллективизации, перепачкались сажей, пылью, паутиной и стояли у колхозного амбара, соображая, чем бы еще заняться. Амбар был двухэтажный, если выразаться по-современному, под свесом крыши боками с прозеленью. От увесистого, кованного из железа языка свешивалась вниз веревка, привязанная за перила второго этажа, куда вела лестница из плах. С заплота слетел воробей, помахал короткими крылышками и сел возле колокола.

Ребята проследили за полетом воробья, и вдруг их внимание привлекло грозное, не раз виденного чудовище, незбылемо и тяжело висящее на толстой перекладине.

«Вот если брякнуть – звон бы пошел!» – пришла в голову Егорке увлекательная мысль, и карие глазенки его озорно косились на флегматичного Юрку, лопаухого и белобрысого товарища на сегодня. Юрка тоже смотрел на колокол, но,

казалось, был далек от мысли звонить.

– Давай звякнем! – заговорщицки шепнул Егорка и поглядел туда и сюда вдоль полусонно улицы. Никого, ни души...

– Не! – боязливо возразил Юрка, искривляя губы. – Тятка ремнем выпорет...

– Не узнает, – убежал Егорка, подтягивая короткие, до колен, штанишки, мы разок ударим – и сразу вниз по лестнице.

– Не! – упрямо повторил Юрка. – Боюсь ремня тяткиного.

– Трус ты, сдрейфил, – презрительно выпятил нижнюю губу Егорка и еще раз поглядел вдоль деревни. – Кто увидит?

Ну и пускай трус, – беззлобно согласился Юрка, – лезь сам, если надо, а я не полезу...

Егорке стало обидно, что Юрка, трусливо-осторожный и раздражающе упрямый, не понимает, не представляет, как это интересно брякнуть в колокол и слушать потом необыкновенно густой, как у быка, бас с металлическим дребезжащими нотками, плывущий на деревней и рекой, над недалёким бором и, пожалуй, над синими далекими хребтами.

– И полезу! – с вызовом заявил Егорка, направляясь к лестнице. – А ты трус, трусишка, наклал в штанишки...

– Это ты наклал в штанишки...

Егорка добрался до веревки, отвязал ее, зажал в кулачок и, зажмурясь, горбясь, как будто тяжелый звук колокола должен упасть на его спину, изо всей силы дернул веревку.

Колокол отозвался немедленными сдержанным гулом, ко-

торый, казалось, сковал Егорку оцепенелым страхом, но мальчик тут же опомнился и пришел в неопиcуемый восторг, с бесшабашной удалью крича вниз, Юрке:

– Еще?!

Но Юрка повернулся и, глядя с ужасом за угол амбара, бросился бежать по улице, часто-часто мелькая пятками.

«Чего он испугался?» – подумал Егорка, почувствовав безотчетную тревогу, и на всякий случай стремительно скатился вниз.

У лестницы его ждал с пучком крапивы в мозолистой ладони с грубой коричневой кожей дед Филипп, чужой дед, не родной, один из добровольных и вечных воспитателей деревенской детворы. Черная аккуратная борода, серая, подпоясанная ремнем, косоворотка, смазанные дегтем ичиги... Сам серьезность и гроза!

– Сымай штанишки, – произнес он голосом с той убедительной силой, когда становится совершенно ясно, что на пощаду рассчитывать нет надежды. Дед взял Егорку за воротник рубашонки.

– Я больше не буду-у! – заныл Егорка.

– Ты не будешь – и я не буду. А пока – сымай штанишки!

– Пусти, не буду-у! – Егорка резко рванулся, пытаясь вырваться. Бесплезно, Цепкие руки у деда.

– Сымай без разговоров. Не сымешь – помогу.

– Пусти-и... не буду-у...

– Не будешь? А ты знаешь, для чего в деревне колокол?

Знаешь? Нет? Пожар ли где, тонет ли кто, знак ли подать в поле, чтоб на обед шли али с обеда на работу...

Дед снял с Егорки штанишки и стал пороть его крапивою, приговаривая:

– А ето для закрепления, для понятия, для уважения...
Будешь ишшо безобразничать? Будешь? Будешь проказничать?

Потом отпустил Егорку и, когда тот бросился убегать, крикнул вслед, что вечерою еще отцу скажет.

За ужином Егорка сидел на скамье, стараясь остаться незамеченным. поужинав, отец опросил, чуть улыбаясь:

– Хватит или добавить?

– Хватит, хватит, – заелозил на скамейке Егорка.

...Обида на деда Филиппа прошла быстро, но урок, заданный им, остался в памяти на долгие – долгие годы, и Егор Ильич, сам став учителем, сильно жалел, что со смертью деда Филиппа из нашей жизни ушло что-то очень важное.

Задание выполнено!

Сосулька свисала с шиферной крыши четырехэтажного дома.

Да, тоскливо подумала управдомша, уныло поглядев на сосульку – глыбу льда в четверть тонны весом, такая, если упадет, прохожего насквозь прошьет... Надо сказать дворнику, чтобы сбил ее.

Не могу, развел руками дворник, потому как высоко, а ежели с крыши сбивать, то сверзиться вниз можно... По технике безопасности не полагается.

Что же делать – запечалилась управдомша.

Только ракетой сбить можно, пошутил дворник.

Управомше было не о шуток. Мысль о ракете показалась спасительной, и она (бывают же чудеса!) «уготовила» ракетную установку.

Будет сделано! – козырнул ракетчик. – Собьем с первого залпа.

И сбил. Не стало зловещей сосульки.

На вместе с ней не стало и крыши. Слетела вместе с вредной сосулькой.

Что же это вы наделали? – ухватилась за голову управдомша.

А что? Сосульку сбил, задание выполнил...

Не случилось ли, читатель, у вас таких ситуаций?

Риск

Их было пятеро. Пятеро девушек-студентов. Сдружились они за пять университетских лет: вместе ходили в кино, в театры, вместе встречали праздники...

Случилось это в новогоднюю ночь.

Я после службы в армии учился на втором курсе сельхозинститута, жил на квартире у тетки, родной сестры моего отца. Дядя не возражал: живи, если хочется. Была у них единственная дочь. Люба, моя кузина. Симпатичная толстушка, немного избалованная. Так вот, держала она в своих руках эту пятерку. Описывать всех девушек не стану: для рассказа это не имеет большого значения, а вот о квартире расскажу. Небольшой одноэтажный домишко из старого дерева стоял на боковой улице неподалеку от главной. В нем-то, в этом домике, и происходили встречи праздников. А незадолго до описываемого случая Люба пригласила из общежития Калерию, одну из пятерки, жить у нее.

В Калерию я давно влюбился: так она была хороша и стройна! Серые глаза, опущенные длинными ресницами, выражали уверенность в своей неотразимой обаятельности; в походке, в движениях царственная величавость, в словах – значительность. По настроению могла удачно пошутить, внося в это элементы озорства.

Иногда на праздники пятерку достаивали посещением

два однокурсника, и тогда пятерка становилась семеркой. Я не в счет: подумаешь, сельхозник, коровам хвосты вертеть!

Валерик, милый, обаятельный, был женат, но приходил без жены. Пашка (так его звали девчата) холостяк, отличался военной выправкой: как-никак, бывший офицер, уволенный из кадров по болезни. Бледное лицо, тонкие бесцветные губы вызывали у меня, деревенского здоровяка, жалость и сострадание. Отличался он некоторой надменностью и чуточку высокомерием, впрочем, относящимся, пожалуй, только ко мне.

Оба сокурсника довольно успешно изощрялись в остроумии, в розыгрышах и во всем таком, что могло поднимать их весомость.

Комплекс неполноценности преследовал меня с детства. Еще бы: жил в далеком северном краю, учился в сельской школе, и не было передо мной человека, у которого бы я мог поучиться, поднахвататься «манер высшего общества». Был тухой!

Калерия! Калерочка!! Как я любил ее! Но не смел сказать ей об этом. Однажды, улучив момент, когда Люба благодуствовала, я поведал ей о своей любви к обаятельной Калерочке. Люба, естественно, предала мои слова Калерии, и я стал замечать в ее серых глазах ледяное презрение: не суй суконное рыло в калашный ряд! Так мне и надо...

Калерии нравился Пашка. Она при малейшей возможности заговаривала с ним заискивающе ласково; едва ли не

просительно. Однажды, в ноябрьский праздник, услышал я нечаянно:

- Слушай, Пашка, а ты некрасивый...
- Почему некрасивый? Я красивый...
- Если красивый, почему не женишься?
- Давай я тебе стихи почитаю.
- Я вся внимание!

Длинноногие девушки,
Совершенством маня,
Резво мчат мимо дедушки,
Значит, мимо меня.
Нежногрудые бестии,
Ваша прелесть пьянит,
В рай хочу с вами вместе и
В сексуальный зенит.
С молодыми задорными
Молодел бы я сам,
Но лишь каплями черными
Грусть течет по усам...
Да, на улице слякотно,
Нудный дождь моросит.
Мне обидно и какатно,
Старый я паразит!

- Нахал! – возмутилась Калерия. – Какой же ты старик?
 - Старик, Калерочка, старик.
- Калерия стояла на своем, тянула шутливо-капризно:

– Пятый год мы вместе, а ты так и не замечаешь меня или я не замечательная?

– Я не замечаю тебя потому, что ты замечательная. Но, увы! Ты слышала что-нибудь про атомные испытания?

– Кое-что слышала. А что? Про радиацию? Положили нас лицом к эпицентру взрыва, велели накрыться белыми простынями...

Валерик, чтобы увести разговор от нежелательного направления, громко заявил, глядя в окно:

– А не пойти ли нам за Ушаковку в березовую рощу?

– Так ведь «нудный дождь моросит»! – усмехнулась Ка-лерия.

– Меня цитируют, – произнес Пашка, задирая нос.

– Девчата, – воскликнул Валерик, – наш преподаватель современной русской литературы имел любимые выражения типа: «так сказать», «прочие прочие вещи», «между прочим», «если угодно». Вот что я услышал на днях:

Недавно, товарищи смог я узнать
Из лекции, страстной и вещей,
Что жил Маяковский, он жил, так сказать,
И прочие-прочие вещи.
Что он, между прочим, писал и стихи.
Писал их легко и свободно,
Стихи эти были весьма неплохи,
Талантливы, если угодно...
Так лектор вещал, закосивши глаза,

Слова изрытая все хлеще,
Я слушал. Меня прошибала слеза
И прочие-прочие вещи...

Все дружно заплодировали. Люба восторженно спросила:

– Ты сочинил?

– К сожалению., не я...

...Подошло время встречать Новый год. Девчата накрыли стол в зале. В углу сияла огнями елка, из комнаты Любы звучал бархатный баритон Александровича. Пашка и Валерик изощрались в остроумии, сыпали анекдотами. В полночь пробка из бутылки шампанского устремилась к потолку, зазвучали тосты.

– Пашка, – мило улыбнулась Калерия, – какое у тебя самое заветное желание? Точнее, желанное хотение?

– У меня, – значительным тоном заявил Пашка, – самое хотенное желание – прийти в класс, где много много детей, и учить их разумному, доброму, вечному.

– Какой ты тоскливый, – приунывала Калерия. – ты останешься вечным холостяком.

– Это не помешает мне быть хорошим учителем, а вот ты, Калерочка-холерочка, разборчивая невеста, рискуешь остаться одна. Тебе двадцать два – возраст критический. Все твои подружки повыходили замуж... Или тоже собираешься стать хорошим учителем?

– Что же я могу поделать? Посоветуй.

– Думай.

Как я был благодарен Пашке за такие речи!

Калерия повесила свою красивую головку, закручинилась, но вдруг решительно встала, подняла рюмку с вином и, тожественно оглаживая всех, заявила без улыбки:

– Рискну! Пойдем все на угол к Главной улице, и первый, кто выйдет из-за угла, будет моим мужем!

Раздались аплодисменты в честь интересного розыгрыша. Калерия настояла на своем, заставила всех одеться, и мы дружно вывалили на улицу, пошли с шутками-прибаутками туда, где темнела громада четырехэтажного кирпичного дома.

Новогодняя ночь сняла блестками снежинок в свете уличных фонарей. Редкие парочки проходили мимо. Вот и угол. Я, как и все, не воспринимал Калерино заявление всерьез, но все же боялся невероятного: вдруг выйдет молодой, симпатичный юноша и прости-прощай, Калерочка! Мне очень хотелось, чтобы вышел дряхлый старик, инвалид на одной ноге, женатик, хулиган, ворюга, бич-бродяга...

Из-за угла вышел солдат, сразу видно, демобилизованный.

От дружного «ура!» свалился снег с тополя. Солдата окружили, ухватили за рукава, за хлястик шинели, за ремень. Он недоумевающее озирался, пытаюсь сопротивляться, но шутки и улыбки успокоили его.

– Кто вы? За что? Что вы от меня хотите?

– Тебе нравится эта особа? – спросил Пашка.

– Ничего, – улыбнулся довольно солдат, – и что?

– А вот что: пойдём-ка с нами, выпьем, поговорим и в доньшко поколотим. Все будет хорошо, не бойся.

– Я не боюсь, только все как-то неожиданно...

– Сердце мое укатилось в пятки: прощай, Калерочка, прощай, неспетая песня моя! Стало грустно, новогодний вечер померк, огни черными пятнами легли на глупый снег...

Стакан горячего чая

Лодки на берегу не оказалось.

– И-ых! – выдохнул, окончательно огорчаясь, баянист. –

Опе-ера!

– Тр-рагедия, что и говорить, – пророкотал техник – не везет...

Кричать надо, перевоз просить...

На-д-до-о, что-о скажешь... На том берегу никого. Деревня как вымерла: еще бы, кому хочется в такую погоду по улице шляться.

Мрачно нависло небо, пронизывающий ветер подул резче, ожесточеннее, печально раскачивались прибрежные тальники, конопатая рябь ложилась на темную поверхность разволнованной реки.

– Эй-е-ей! – сложив рупором заочневшие ладони, закричал баянист. – Эй-е-ей! Перевезите-е!

Деревня равнодушно молчала, заманчиво дымя трубами.

– Ого-го-о! – отчаянно завопил техник. – Замерзае-ем!

Молчала деревня. Даже эхо не откликалось. Нигде ни души, ни стука, ни бряка, ни собачьего лая.

– Вот везет, – ухмыльнулся баянист.

– Везет, что скажешь, – откликнулся техник, стуча зубами.

Из ворот на той стороне вышел коренастый мужик, нето-

ропливо спустился на речную террасу к поленнице дров. Набрал охапку.

– Эй-е-ей! Ого-го-го! Перевозу! – наперебой заголосили ягодники, подпрыгивая и размахивая руками.

Мужик повернул в их сторону голову и, ни слова не говоря, двинулся к избе.

– Эй-е-ей! Ау-у! – истошно исходились в крике парни.

– Переве-ези-и, будь другом! Ой-е-ей!

Ушел мужик, глухо стукнули калитка.

– Змей подколодный, – прошипел баянист. – Коряга бесчувственная...

– Пень, что и говорить.

– Замерзай никому дела до тебя нет...

– Никому, что скажешь.

Открылись ворота на той стороне, и из них вышел мужик с веслом в руке...

– Спасибо! Спасибо! – горячо благодарили спасителя напарники, выходя из лодки на другом берегу.

Мужик, не говоря ни слова, ушел в избу.

Горбаться, ягодники двинулись на край деревни, где во дворе незнакомой старушки стояли их «Юпитеры».

– Бедняжки, – засуетилась старушка, худенькая, озабоченная. – Перемерзли-то как! А я уж думаю-думаю, где они, робята-то, погода, ить, испортилась... Чичас я вам чайку горячего сгоношу... Наскрозь, ить, промокши, посинели аж. Чичас, Чичас...

– Спасибо, бабушка, мы домой спешим. Не надо чая...

– Че ето вы от горячего чаю отказываетесь? – обиделась старушка. – Долго ли? Выпьете для сугреву внутренностей, а там и поезжайте.

Баянист отказался столь решительно, что техник рассердился, сплюнул от досады, мысленно проклиная напарника за странную особенность: ни за что не возьмет из чужих рук даже такую мелочь, как стакан чая. Будет мило улыбаться, благодарить, но не возьмет. Это, может, в обычных условиях имело какой-то смысл, но в таких исключительных обстоятельствах стакан горячего чая просто необходим.

– Поехали, – торопил баянист.

– Поехали, – смирился техник.

– Че ето вы, робята, от горяченького-то отказались? – огорченно причитала старушка. – Не погрелись... Захворате ишшо по такому-то холодишщу ехать. Я бы мигом чайку...

– Спасибо, бабушка, твердил баянист. – До дому близко... Доедем.

Техник представил, как они проедут эти двадцать километров в сырой одежде на леденящем ветру.

– Брр, – поежился баянист, подходя к мокрому мотоциклу.

– Вот тебе и «брр», – рассердился техник. – От стакана чая отказался! Не идиотизм ли твоя щепетильность? Старушка к нам со всей душой, а ты...

– Ничего, не околеет, – баянист заученно вставил ключ

зажигания. «Юпитер» гневно взревел, наполняя тесный двор сизыми клубами дыма. – Поехали!

Поехали, что скажешь.

Дорога тянулась вдоль берега, лишь в одном месте пересекая поле. Жидкая грязь хлюпала, чавкала под колесами, с шумом вылетала в стороны из залитой водою колеи. Мотоциклы юзили, но парни упорно катили вперед.

Дождь утих, но не перестал, сыпался мелкой назойливой пылью. Справа по яру стояли в оцепенении деревья, темнея влажными стволами. Казалось, и они мерзли.

«Ничего, – думал техник, и ему от таких дум становилось вроде теплее, – вот приеду домой, жена встретит, обогреет, горячим чаем напоит, а может, и чем-нибудь покрепче...»

Женился техник недавно, года еще не прошло. Так уж получилось, что долго ему пришлось холостячить, почти до двадцати семи годов. Все не мог выбрать невесту по душе. Наконец встретил одну. Так по сердцу пришлась! Стройная, красивая, училище закончила. Приехали из города воспитателем в детский сад. подружили с месяц, свадьбу справили. Через полтора месяца – ультиматум: или уйдешь от родителей, или развод. Какой развод! Ушел техник из родительского дома, на казенную квартиру переехали, зажили вдвоем.

«Ужин, наверное, готовит, возится у натопленной печи. Фартучек на ней цветастый – его подарок! – ждет своего несчастного, полуживого от холода муженька. А я – брусника, что и говорить!»

От таких дум силы прибавлялись, и руки начинали лучше гнуться. А то они, как крюки, пальцы свело.

Впервые он везет жене бруснику. Ездил летом на кислицу, по смородину. Уток стрелял, рябчиков, а сегодня брусника. «Чайку бы сейчас, чайку! Подъегорила нас погода. А как с утра-то тепло было, солнышко, в небе ни облачка...»

Окоченел техник окончательно, челюсти свело в судорогу, слова не вымолвишь.

Из-за поворота вынырнули строения села, серого, угрюмого, безлюдного. Ягодники въехали на взвоз, покатали ровнее (главная улица в райцентре отсыпана гравием) мимо нахоженных домов, отороченный по бокам деревянными тротуарами, блестящий от влаги.

Еще немного, и баяниста встречает у ворот жена, помогает... Техник проскакивает мимо. Баянист машет ему рукой со скрюченными пальцами. Техник пытается ответно попрощаться, но не может оторвать руку от ручки газа. Он виновато улыбается. Ему кажется, что еще минута-другая и он свалится вместе с мотоциклом.

Поворот в проулок, еще поворот – и вот она, его квартира. «Сейчас выйдет, сейчас выскочит... Вот откроется калитка...» Калитка не открывалась. «Сейчас, сейчас!». Не открывалась калитка. «Дома нету... В магазин, наверное, ушла».

Техник притормозил, прислонил заглушенный мотоцикл к воротам, с трудом потащился в дом.

Дверь, к его немалому удивлению, не была заперта, пах-

нуло родным, желанным теплом. Жена, очаровательная, тоненькая, забравшись с ногами на диван, полулежа читала книгу. Она только коротко взглянула на вошедшего, вскинув аккуратную головку со строгой «воспитательской» прической, и опять углубилась в чтение.

«Поле-сражения», невольно и ревниво отметил техник название книги, не понимая причины столь холодной встречи. Эту книгу он читал. Станислав Китайский. Увлекает, еще бы!

Недоумение сменилось обидой, пока еще слабой, робкой. Техник сбросил двустволку, но горбовик снять не удавалось: негнущиеся пальцы никак не могли зацепить скользкие мокрые заплечные ремни.

Жена не оторвалась от книги, не бросилась помогать, и техник бессильно, выпучив от изумления серые глаза, опустился на табурет у порога.

Сидел несколько минут, приходя в себя, пытаюсь осмыслить происходящее, пока постепенно нарастающая злость не подняла его с табурета.

– Помоги горбовик снять! – грубым голосом раздражено крикнул он, ощущая, как острой боль вонзает в сознание мысль: «Жена-то, оказывается, черствая, нет у нее душевной чуткости».

– Ты почему на меня кричишь? – недоумевающее уставилась на него жена. – Что я тебе плохого сделала?

«А все-таки как красива, чертовка! На мгновение подав-

для раздражение, подумал он. – Что я раскричался?»

В нем, в горбовике-то, больше двух ведер ягод, плечи оттянуло, руки не гнутся, виновато и жалко стал оправдываться он, сбрасывая наконец-то с себя тяжелый горбовик.

Жена победно взглянула на него и опять принялась за чтение, все своим видом подчеркивая, что сейчас ее лучше не беспокоить. Техник мечтательно произнес:

– Мне бы сейчас стакан чайку. Горячего...

– Что я тебе, печь топить буду? Подожди до ужина. – бросила чуть разреженно жена, не прекращая чтения.

– До ужина? – ахнул техник. – Подождать до ужина...

Он обезоружено и беспомощно плюхнулся на табурет, открыл было рот, чтобы сказать что-то, но вместо этого стал стаскивать с себя мокрую одежду, ожесточенно бросая ее на пол.

– Ты чего расшвырялся? – отложила жена книгу. – Я тут убираю, убираю, а он швыряет!

– Я... Я тебе... брусники привез!

– Поду-умаешь! Съездил, прокатился для собственного удовольствия и выкаблучиваешься...

Техник почувствовал, как внезапно жар охватил его лицо: «Для собственного удовольствия?!». Волна сильного гнева охватила, сжала его...

И он пошел растапливать печь.

Чаепитие на утиной охоте

Было это давно, а будто вчера случилось, так зримо и реально в глазах стоит.

Работал я учителем в средней школе в новом городе, возникшем в таежной глуши, где не было ни реки, ни озера, ни болота, поэтому охотиться на уток не удавалось, а страсть к утиной охоте не проходила. Оно и понятно: с малых лет привык таскать дробовичек тридцать второго калибра по полям родной деревеньки, спугивая с лыв талой воды недоступную добычу. Правда, изредка удавалось подстрелить легкомысленного чирка, и тогда радости не было конца, и мать хвалила: «Кормилец растет!».

Годы уходили, страсть оставалась.

...Завуч, женщина чутка и все понимающая, освободила от уроков в пятницу. Получалось три дня. Можно поохотиться!

После недолгих сборов рано утром я «оседлал» своего косоланого горбатенького «Запорожца», который добросовестно доволоч меня по гравийной, местами очень скверной дороге в новый совхоз, слепленный из деревень, находящихся в зоне затопления Усть-Илимской ГЭС.

Друг, баянист сельского Дома культуры, встретил меня, как говорится, с распростертыми объятиями, но и огорчил:

– Не могу я сегодня на охоту плыть, не могу: репетиция

концерта. Ты же не сообщил по приезде.

– Отмени, – умолял я, – перенеси. Я восемьдесят шесть километров отматал... В шесть утра встал...

– Что же придумать? – почесал друг в пышной шевелюре волос с густой сединой, ранней для его сорока.

С ним мы познакомились еще в бывшем райцентре, тоже приготовленном для затопления. Были связчиками по охоте, вместе работали в районном Доме культуры.

– Есть, кажется, выход, – приподнял он указательный палец на уровень серых глаз, – схожу в одному корешу. Ты пожди.

Он ушел в сторону индивидуальных домиков, таких уютных и милых в сравнении с этими панельными четырехквартирными коробками в двухэтажном исполнении. Я с надеждой посмотрел вслед ему, коренастому, невысокому, лениво-стесненному.

Вернулся он домой. Сказал:

– Моторку я даю. Поплывешь с кочегаром котельной, а утром завтра он за мной приплывет. Поохотимся!

...Моторка врезалась в мякоть мутной после недавнего ледохода воды. отражались в ней берега, заросшие густой величавой тайгой, вбегающей бодро на крутые хребты. Километров через двадцать показался небольшой мыс, такой желанный в этой глухомани. Виднелись на нем столбы от небольшой деревеньки и ямы, заросшие будылем. Кое-где оставались оклады изб.

Напарник проехал еще немного, и лодка мягко ткнулась в обрывистый, серый от прошлогодней травы берег.

Вынесли ружья и рюкзаки на поскотину с редкими черемховыми кустами, осмотрелись. Вдоль берега – поскотина, за ней – пашня, которая сходила на нет, и поскотина подходила к чудесному сосновому бору, сияющему от щедрот майского солнца. Дел легкий упругий ветерок, мечущийся в разные стороны. Он колыхал высохшую прошлогоднюю траву.

– Куда пойдешь? – спросил напарник, заряжая «тулку».

Справа лежало небольшое поле, на котором должны быть лывы, чуть левее темный ельник клином входил в сосновый бор, взметнувшийся на невысокий длинный хребет.

– Пройдусь по лывам, – ответил я, вставляя в бескуровку «ижвевку» патроны, с детства люблю такую охоту.

– Тогда я двинусь на болото в ельник. В случае чего – и ты туда жми. Понял?

Напарник опоясался патронташем и зашагал, как журавль, по пахоте к ельнику. Серые одежды подчеркивали сходство с длинноногой птицей. Я тоже опоясался патронташем и отправился ревизировать лывы, которых оказалось немного. Уток на них не было, и я направился в пугающим мраком ельник. Шел и думал об умершей деревне. Тоскливое настроение охватило меня: кому она помешала, кому встала поперек горла? Триста пятьдесят лет стояла, жили в ней люди, сеяли хлеб, любили, рожали детей, надеялись на лучшее – и вдруг коллективизация! Она ополовинила дерев-

ню, а укрупнение колхозов добило ее до конца. Погибла она задолго до затопления.

В ельнике гулко ударил дунлет. Я вздрогнул и зашагал быстрее, утопая в толстом слое густого зеленого мха, напоминающего роскошный ковер. Вот посветлело, показалось «окно». Я внимательно присмотрелся. Нет, уток не было видно. Только шагнул – всплеск крыльев, и в воздух взмыли два краснолапых селезня. Вскинул двустволку, выстрелил раз-другой, отчетливо осознавая, что опоздал, что не взял нужного упреждения.

– Вот это стрелок! – раздался за спиной насмешливый голос напарника. – Не торопись, паря. Понял?

В руке напарник держал великолепный трофей – селезня.

– Пора обедать.

– Пойдем, согласился я.

Пришли к месту стоянки. Я разрядил безкурровку, бережно положил ее на рюкзак с теплыми вещами и продуктами, достал котелок и стал собирать хворост для костра.

– Ты чай кипяти, – сказал напарник, – а я сетушку в кусты поставлю, авось, ельчишки понабьются в нее. Понял?

Я «сочинил» таганок, разжег под ним костерок, а сам спустился вслед за напарником к реке, чтобы набрать воды. Когда поднялся – ахнул! Языки и язычки пламени бойко бежали, как застоявшиеся в конюшне лошади, по поскотине. Они обгоняли друг друга, останавливались, бросались в стороны и явно имели намерение вырваться на оперативный простор,

дабы разгуляться там, где есть пища посолиднее – вековые сосны с их золотыми стволами и бархатными кронами.

Я торопливо срубил ветку черемухи и бросился сбивать пламя. Куда там! вместо одного потушенного язычка пламени возникали десятки других, оставляя после себя дымящуюся землю, черную и словно обиженную. «Врешь, не возьмешь!» – подбадривал я себя и в то же время чувствовал, что мне с пожаром не справиться, пусть паду я здесь «смертью храбрых». Бил и бил веткой по очагам пламени, может полчаса, а может, час. Пот лил с меня крупными каплями, спина взмокла, я был в изнеможении и отчаянии, понимая безвыходность и безысходность. Закричал:

– По-омо-огите-е!

Напарик высунулся из-под обрыва, ахнул, выскочил на поскотину, сломал ветку и бросился на помощь.

Тщетно, все тщетно! Языки и язычки пламени метались в стороны, как выпущенные из класса ученики, не обращающие внимание на призывы к благоразумию. Напарник, долговязый и сутулый, смахнул пот с дубленого лица, махнул рукой:

– Брось ты эту канитель. Понял?

– Да ты в своем уме? Лес ведь рядом... Бор!

– Мало в Сибири лесов? Пусть горит. Понял?

Я продолжал бессмысленную борьбу, все еще надеясь на что-то, но все чаще и чаще осознавал, что надо искать другой выход. А какой? Какой?!

Беспомощно оглядываясь, махал веткой, сбивал пламя. Вдруг заметил, что поскотина шагах в двадцати отсюда резко сужается между пахотой и береговым обрывом. Вот успеть бы проскрести перешеек до подхода огня, лишить его пищи!

Бросился туда, прокричал напарнику, чтобы помогал. Тот понял меня, прибежал. Лихорадочно проскребали перешеек до земли и все время поглядывали на скачущее пламя, приближающееся к нам. Но мы поняли, что успеем, и только расширили полосу.

Пламя взметнулось перед перешейком, ослабло, пригорюнилось. Ветер сумел перекинуть еще две-три искорки, но мы тут уже затоптали робкие пока язычки пламени и вздохнули облегченно: победили стихию! Закурили с устатку. Я ощущал чувство вины и удовлетворения. Пожар допустил я, бывалый охотник (не без помощи, конечно) и не допустил огонь в лес.

Ласковое солнце улыбалось в зените, свежий ветерок обдувал разгоряченные потные лица и кружил дымки дохлых очагов.

Вдруг раздался выстрел. Двустволка напарника посунулась назад и уперлась стволами в землю. Прозвучал глухо второй выстрел, и конец ствола раздулся, повредив другой.

– Моя «тулка»! – бросился к ней напарник. – Черт побери!

Я взглянул на свою «ижевку». И чуть не свалился с ног: рюкзак горел ровным светлым пламенем (мои теплые вещи!), у двустволки перегорела шейка приклада...

– Поохотились! – мрачно изрек напарник, и рот его перекосился от досады. – И чаю попили... Понял? Черт меня дернул связаться с тобой! «Тулка» на сто шагов была, где такую найдешь? Сибиряк, огня не сумел развести... Понял?

И он сплюнул с такой силой презрения, что я внутренне содрогнулся от тяжести своей вины, от сознания непоправимости случившегося, оттого, что подвел человека.

– Я тоже пострадал, – сказал я, оправдываясь.

– Приклад сделать можно. Понял?

– Зато бор спасли...

– Гори он синим огнем, твой бор, – разразился матом напарник, век бы его не видать – ничего бы не потерял.

Напарник еще долго ругался. А я думал, что из-за таких равнодушных, пришлых людей и горят наши леса, хотя в данном случае сам чуть не стал поджигателем.

– Поплыли домой, – приказал напарник, – нечего нам здесь больше делать. понял?

Моторка словно обрадовалась возвращению и бежала вниз по течению споро и деловито, а над головой, словно чуя нашу беспомощность, пролетали иногда стайки уток. Напарник грозил им свободной от румпеля левой рукой и сплевывал в набегающую волну, зеленую от таежных отражений.

Я смотрел на щетинистые от густой тайги хребты справа и слева, и радостное чувство спасителя всех этих зеленых богатств поднимало меня над мелочами жизни...

Как будто вчера все было, а ведь прошло больше пятна-

дцати лет с тех пор, как я совершил единственную ошибку по отношению к моей природе.

Белый свет

Давно, в студенческие годы наш пятый курс Иркутского художественного училища (а это двадцать парней и одна девушка в качестве повара) отправили копать картошку в отдаленный совхоз области. Разве это не сила?

Да Тулуна ехали поездом весело, с задором и шутками. От Тулуна – в кузове грузовой машины, и тоже весело, только пыльно и тряско.

Ко времени обеда остановилась наша машина в деревеньке, странно для сибирских деревень: в густом березняке в вырубленном месте расположились одна против другой две недлинные улицы из однообразных, как бы наскоро слепленных избушек. Посредине широкой площади стремился в небо колодезный журавель, возле которого мы решили подкрепиться.

– Как называется деревенька? – спросил я у проходившей мимо бедно одетой женщины, хмурой, чуть сторбленной.

«Белый свет», – сказала она и прошла мимо, не оборачиваясь и не сбавляя шага. «Странно, – подумал я. – «Белый свет», «Белый свет»... Разве может быть такое название? Что это? Насмешка? Над кем? Над жителями деревеньки? Или надо мной? Посмотрел внимательно на сокурсников: как они отреагировали на это, но не заметил на их лицах ни малейшего интереса к происходящему, они были увлечены едой,

захваченной из дома.

Запивали водой из колодца, чуть солоноватой, но ни реки, ни озера поблизости не было: березы, березы и березы! И деревенька в окружении их.

После обеда поехали дальше и вскоре оказались в крупном селе, где нас разместили в бывшей весовой – помещении просторном и пустом.

Утром явился мужчина, одетый в поношенный пиджак, неглаженные штаны, заправленные в кирзовые сапоги. Ему было под пятьдесят.

– Я, – заявил он, представляясь, – управляющий отделением совхоза. А это (он указал на скромно одетую женщину лет тридцати пяти) – агроном. Она покажет вам, где взять вилы, лопаты, мешки и место работы. Условия такие: будете жить на хозрасчете, что заработаете – все ваше. Сотка выкопанной картошки – одни рубль сорок копеек. Ясно?

– Ясно, – ответил наш староста Виктор Тюрюханов, высокий, стройный парень из староверов. Управляющий и агрономша вышли. Я догнал их и спросил: «А почему та деревенька называется «Белый свет»? Это всерьез?» управляющий посмотрел на меня несколько удивительно и ответил: «Всерьез, конечно. Разные там люди живут – и чуваша, и мордва, и татары, и русские. Попробуй, разберись, что у них в головах? Может, это насмешка, что их поселили в таком месте, может, даже самоиздевательство». Я вернулся к сокурсника. Мне хотелось затеять с ними полемику по поводу

названия «Белый свет», но не осмелился – слишком необычно прозвучало бы мое предложение.

Копали мы картошку без энтузиазма – поле длинное, ни конца, ни края. И земля, словно глина. Тяжелая, плотная. В первый же день, переломав несколько вил и лопат, мы поняли, что хозрасчет для нас – голодная смерть.

– Что это за расценки? – возмущался Вовка Дулов. – Один рубль сорок копеек сотка! Это пачка папирос «Север»! А ведь еще пожрать надо, я уже не говорю, что и попить.

Управляющий наши протесты решительно отверг: «Ничего не могу сделать – такие расценки». – Но ведь это не земля – асфальт, это бетон, – не сдавался Вовка.

– Пишите жалобу...

Писать жалобу не стали, а нашли выход: двух самых талантливых начинающих «художников» определили «на заработки». Они стали рисовать для местных жителей пейзажи, портреты, настенные «ковры». Рисовали в этой же «весовой». заказчиков находил Виктор, один вид которого вызывал у жителей доверие, и они, не торгуясь, платили. Мы стали лучше питаться. В субботу после бани устраивали даже выпивки. Агрономша ругалась, что на работу выходят не все, мы отбалтывались: у них нет обуви.

Меня же изматывала мысль, почему деревенька называлась «Белый свет». В Нижнеилимском районе, где я родился, все названия были понятны. Вот деревенька Погодаева, ее основатель Погодаев Гришка, сын Юрьев. Возникла в 1645

году и за триста лет разрослась до сорока семи усадеб. А какие там дома! Высокие, трехстенные с резьбой под крышами, на окнах и ставнях. Даже ворота делались в елочку!

Вот это да! А что это за деревенька в глухом березняке? Надо же было согласиться с землеустроителями, чтобы поселиться в таком странном месте! Впрочем, поселенцев могли привлечь черноземы – основы хороших урожаев, а следовательно, и зажиточной жизни. Все так! Но почему все же «Белый свет»? застряла загадка, как заноза под ногтем: не очень больно, но и покою нет: ноет и ноет...

Сколько времени могло это продолжаться? Годы шли. Вернулся в родную деревню. В свободное время – охота, грибы, ягоды, рыбалка. И совершенно неожиданно, благодаря рыбалке, я смог найти ответ на мучивший меня вопрос.

Река, рыбалка имеет для сибиряка большое значение. И в этой связи мне совершенно непонятно, почему некоторые деревни строятся вдали от рек, как, к примеру, «Белый свет». Рыбачить те, кто живет по берегам рек, начинают, чуть ли не с пеленок. Едва встал на ноги, а уже тянется к удилищу, уже бежит к реке с тайным желанием выловить хотя бы презренного пескаря, а ельцы, сороги – это уже добыча тех, кто взрослее.

Построили Братскую ГЭС – и хариус, который нерестился по Ангаре, был вынужден искать места для нереста по притокам Илима. Напротив устья Тушамы нефтеразведчики поставили вышку и в свободное от вахты время занимались ры-

балкой в речке, которая после весеннего ледохода имела высокую воду, что вызывало тайные усмешки местных жителей: что за чудачки ловят рыбу в мутной воде удочками.

Однажды я зашел к соседу-шоферу с нефтеразведки – и увидел в кухне на столе крупную рыбину.

– Что за рыба? – спросил я, недоумеваю.

– Это хариус.

– Как хариус? – не поверил я. – Разве хариусы такими бывают?

– Выходит, бывают, – улыбнулся сосед.

– Нет, скажи правду, откуда рыба? Из магазина?

– Говорю, с Тушамы. Нефетразведчики в речке добывают.

– Сетями?

– Удочками.

– Да не ври ты! Как же можно в такой воде рыбу удочками добывать? Ведь рыбы и червяка не увидят.

Я внимательно разглядел хариуса, лежащего на столе. Крупный, граммов на восемьсот, темный, с крапинками по бокам. Заволновался, решил сбегать к лучшему другу, позвать его на такую рыбалку.

Друг согласился. Накопали червей, приготовили лески, удилища, а туром раным-рано, еще до восхода солнца отправились к нефтеразведке. Переплыли в лодочке через реку и понеслись вверх по Тушаме, полагая, что чем дальше заберемя, тем богаче будет добыча. Но, усталые, раздосадованные, с позором возвращались мы обратно. Солнце перевали-

ло за четыре часа дня. Хариусы оказались хитрее нас: они ни разу не клюнули.

До устья речки оставалось не больше полукилометра, и мы увидели на небольшой полянке пятерых нефтеразведчиков, стоявших плечом к плечу и забрасывающих в пенящуюся струю воды поплавки. Уселись мы на пригорочке, стали варить чай, попутно наблюдая за чудаками-рыбаками.

Вот один из них сделал подсечку, и на крючке затрепетал крупный темный хариус, который извивался, трепыхался, пытаясь сорваться.

– Молодец! Молодец! – хвалил его рыбак.

Мы не стали пить чай, а заняли места неподалеку от этой группы. Нам повезло. С этой поры я забыл про любую рыбалку, кроме добычи хариусов, тем более что они малосольные, отличались таким вкусом, что пальчики оближешь.

И вот однажды, когда хариус в Тушаме не клевал, решил я перейти по неширокому водоразделу на реку Рассоха, вода которой отдавала болотом, поэтому не могла интересовать хариусов. Вошел в сплошной молодой березняк и остановился в недоумении: мне показалось, что от берез исходит ясное сияние – сильное, всепроникающее, всеобъемлющее, словно где-то среди бесчисленных стволов находились сотни невидимых электроламп. Это было похоже на волшебство, на диво дивное, на чудо чудное.

Торжественное сияние заставило меня удивиться, восхищаться, задуматься над странными причудами природы.

И внезапно вспомнил поезду в совхоз на копку картошки, вспомнил о деревеньке «Белый свет». Вот она – разгадка, так долго мучившая меня. Вот оно – открытие светящегося березняка, столь редкое в природе. Вот почему деревня называлась «Белым светом»! Среди первых ее жителей нашелся человек с поэтическим видением, который и обнаружил однажды в березняке сказочное сияние, белый свет, белое торжество расцветающей природы и не мог пройти мимо такого явления, предложил назвать деревню «Белым светом», с чем, вероятно, все согласились. Еще бы, и точно, и метко, и ни на что не похоже. И пусть это белое сияние исчезало, как только березы покрывались весной пушкой листвы, но впечатление, произведенное в эти майские дни, было незабываемым, неизгладимым и человеческой памяти. А ведь здесь пришлось жить, трудиться, растить детей, которые, подрастая, тоже могут спросить, почему деревня называется «Белым светом».

Вот так, через много-много лет, благодаря рыбалке на хариусов, я разгадал тайну столь необычного названия деревни. Да, загадка долго мучила меня, не всегда настойчиво, но всплывала время от времени не столько от нужды, сколько от веления души и сердца, например, в песне: на тебе сошелся клином белый свет.

И, словно в награду за открытие, удалось, когда немного улеглось волнение, увидеть под ногами диковинный, редкий-редкий (особенно в глухомани) цветок. Он, высокий,

чуть ли не по колено, одиноко, но уверенно тянулся вверх. Меня поразили его размер – чуть ли не в согнутую ладонь, и цвет, который меня чрезвычайно поразили как художника. Это был не желтый, не охристый, не оранжевый, а такой, какой и на палитре не подберешь, чтобы передать его очарование и неповторимость. И был он усеян мелкими черными точками. Такой цвет, необычный, неповторимый, поражающий меня в детстве на грудке снегирей, только он был скорее розовым, хотя и не очень, а словно каким-то неземным, космическим, что ли. Или, в конце концов, индийским – у них есть такие красители. Я огляделся. Цветок был один. Откуда? Из каких времен и эпох оказался он здесь, в этом молодом светящемся, сияющем березняке? Пожалел художников с их бедной палитрой и еще раз убедился в том, как талантлив народ, увидевший свет берез и назвавший свою деревню таким поэтическим именем.

В лесу собесов не бывает

Рассказ

В наших илимских краях зайцев добывали плашками (дело трудоемкое!), кулемками (чуть легче) или петлями – со всем легко: долги петли из проволоки поставить на заячью тропу!

Мы с другом, школьниками еще, тоже ловили «косых» петлями, испытывая при этом гордость, которая присуща добытчиками, или кормильцами, как подхватили нас родители, занятые более важными делами.

С годами страсть к добыче зайцев петлями ослабла, появились новые увлечения – ружейная охота на них, но это уже в более зрелом возрасте, когда не запрещалось пользоваться оружием.

Конечно, старики не верили, что из ружья можно добывать зайцев, уверяли:

– Видь, он, косой, за ночь то сколько набегает – попробуй его выследить! никаких ног не хватит... То ли дело – петли!

Мне претило ловить зайцев петлями: уж больно несчастный, подленький какой-то способ, и было противно глядеть на фиолетовые тушки ободранных удавленников: то ли дело – стреляный заяц.

Я работал учителем в средней школе и все свободное вре-

мя посвящал ружейной охоте, как правило на рябчиков, тетеревов, и если попытаться, добывал глухаря. Заяц же, особенно по чернотропу, попадался под выстрел редко. Лотерея!

Как-то вычитал в настенном календаре, что зайцев можно успешно тропить по тропе, для этого надо идти по заячьему следу, пока он не станет сдвоенным, тут смотри в оба, куда сделает заяц скидку, потому что он залег на дневку где-нибудь в траву, понимая, что надо знать, кто и зачем интересуется его особой, и вовремя дать «деру».

Попробовал – получилось: взял трех зайцев. С тех пор и началось.

Едва дождался звонка с моего последнего урока: еще бы! Сегодня отличная пороша, то, что надо!

Торопливо пообедал, забросил двустволку двенадцатого калибра за спину, деловито прошел по улице села, перешел по льду реку на другую сторону и углубился в лес, где стояла ферма по выращиванию чернобурых лисиц, находящихся в клетках за высоким ограждением из горбыля. Заглянул в щель, увидел оскаленные сердитые мордочки хищниц, злобно лающие в ожидании кормежки.

С другой стороны изгороди стояла изба, в которой жили сторож и повара – кормилицы. На деревьях глазело воронье, громко каркающее, они также ожидали пищу, чтобы украсть у зазевавшихся лисиц косточку или кусок мяса, а потом уле-

теть за изгородь, где на снегу можно полакомиться добычей.

Я прошагал мимо фермы, углубился в чащу, надеясь встретить там заячью тропу. Да, вот и она. Пошел по ней, зорко вглядываясь в сторонья: нет ли где скидки.

Меня ждало разочарование – тропа оказалась «круглой», бесконечной. Зайцы приноровились к неглубокому снегу середины декабря, изменили тактику: охотник ли, собака ли может преследовать их по такой тропе сколько угодно: они, видя опасность, все время уходили вперед. Добыть такого зайца в одиночку – дело архитрудное, и я решил возвращаться домой. Не повезло, что поделаешь, не осень...

Стая волков уходил на север, вслед за стадом диких оленей. Волк, крупный, старый, отставал от сородичей: болели ноги, слабея с каждой верстой. В конце концов он с тоской в умных своих глазах поглядел вслед уходящим и прилег в снег, отдыхая.

Возможно, он думал, как не подохнуть от голодной смерти: ведь он не сможет поймать даже зайца, а всякая мелочь, вроде птичек и мышей, тоже не достается легко.

Низкое декабрьское солнце чуть-чуть пригревало спину. Волк, отдыхая, втягивал запахи и вдруг уловил слабый-слабый, еле осязаемый запах птицы, раздражающий ноздри. Он поднялся и заковылял навстречу этому запаху, который усиливался с каждым днем. Наконец запах стал настолько сильным, что волк облегченно «вздыхнул», но остановился: впереди темнела изгородь и слева от нее изба, где должны нахо-

даться люди – главная опасность.

Голод не тетка! Волк увидел, как из-за изгороди вылетела ворона с костью. Она уселась на снег и стала жадно и деловито «обглаживать» добычу.

У волка перехватило дыхание. Он, забыв про осторожность, двинулся к вороне. Та взлетела, уселась на дерево и стала оскорблено и сердито каркать.

Волк жадно впился в кость, ощущая как изголодавшийся желудок ноет в предвкушении сытного обеда.

Вот и еще одна ворона вылетела из-за изгороди с куском. Волк согнал ее с места и одним глотком справился с мясом...

Потом еще и еще. Волк насытился до отрыжки. Потянуло на сон, приткнулся к стволу сосны и заснул, довольный, счастливый, не обращая внимания на возмущенных ограбленных ворон.

Волк рисковал, но сытый, не осознавал опасности, ожидающей его.

Я двинулся обратно и вдруг увидел возле ствола сосны спящего волка. вскинул ружье, послал предохранитель вперед, но стрелять не стал, опасаясь недоразумения: не было в тех краях волков, и старики не помнят, чтобы волки появлялись в наших бескормных местах.

«А вдруг это собака, соображал я: в селе имеются кое у кого так называемые породистые собаки, крупные, серые, ну волки и волки, а подстрелить такую собаку – так греха не

оберешься: сърызет тебя хозяин, затаскает по судам...»

Но все признаки волка были налицо: вот и хвост поленом, и уши словно отмороженные, и хищный загром.

Волк прогнулся неторопливо, каким-то неловким скоком запрыгнул наискось от меня в ближайшую чашу. Я проводил его стволом, досадуя, что не могу правильно оценить обстановку.

Нет, я ничуть не испугался, может просто не успел сообщить всю степень опасности такой встречи: еще бы! Ведь вес такого зверя восемьдесят килограммов, об этом я вычитал в нашем краеведческом музее из таблички над чучелом волка, присланным в подарок из далекой Катанги (это север).

Преследовать волка не решился, это не рябчик; выскочит из-за куста – выстрелить не успеешь...

Пошел домой, решив сходить за советом к охотоведу ПОХа.

Охотовед, выслушав меня, подтвердил, что это волк, и пожурил, что я потерял крупную сумму денег, полагающуюся за отстрел хищника.

Волка «взял» сам охотовед. Собаки выгнали «инвалида» на выстрел.

Я приходил в ПОХ смотреть на дикого зверя, страшного даже своей смерти, и, конечно, жалел, что в своей «заячьей страсти» упустил возможность отличиться крупно, дрогнув от слабого знания волчьих привычек и особенностей.

Еще несколько раз сходил на охоту к этой лесоферме в надежде, что вдруг еще какой-нибудь «инвалид» соблазнится дешевой, но сытной «столовой», только не везло. И я успокаивал себя тем, что на следующую осень снова буду охотиться на зайцев по пороше, не допуская, когда снег станет глубоким и зайцы изменят тактику.

Первый успех

Приехали мы с приятелем в Качинский бор, подготовленный лесоводчиками под зону затопления Усть-Илимским водохранилищем. Конечно, отнеслись они к своей работе весьма легковесно, если не сказать, преступно. Везде высились отдельные деревья и даже целые «рощи»; разумеется, остались нетронутыми чащи, возвышались кучи хлама и брошенные штабеля древесины.

Место было ровное, если не считать нечастых и некрутых подъемов и спусков, пересекали его лесовозные дороги, выровненные дождями (песок кругом), избавленные от глубокой колеи, когда-то пробитой колесами мощных машин. Теперь же шагать по такой дороге – одно удовольствие. Прилетали в бор и таежного ручья Винокура глухари, привыкшие испокон века клевать в нем вишневые ягоды брусники, так аппетитно выглядывающие из-под первого, мелкого еще снега. Тяжелые птицы бродили по бору, как бараны на поскотине, но не подпускали человека и на двести метров.

Мы с приятелем решили перехитрить осторожных глухарей, придумали хитрость и часам к девяти утра приехали на мотоцикле с коляской к месту охоты. наспех изобразили «лошадь» из холстины, наброшенной вдоль вытянутых рук, положенных на плечи впереди идущего приятеля, и пошли ни шатко ни валко к пасущимся глухарям, поначалу отнес-

шихся к нашей карикатурной «лошади» с некоторым пренебрежением, но затем, обеспокоенные странным животным, они взлетели на деревья и стали изучающее разглядывать «произведение искусства». Потом, явно оскорбленные грубой подделкой, снялись с верхушек сосен и улетели в темный Винокур.

Наш великолепный план лопнул, и мы остались без работы, потому что делать в этом бору было нечего, если не продолжать незаконченную халатными лесоводчиками работу по очистке дна будущего водоема, но это нам «не улыбалось» ни с каких сторон, если рассматривать дело не шутя.

Вернулись с позором к мотоциклу, зашли в брошенную лесоводчиками будку, растопили печурку, поставили чай, благо Илим был рядом. После завтрака приятель решил, что глухари появятся на вечернюю кормежку часам к четырем дня, и решил скоротать невольный досуг во сне, который, кстати, очень любил. Я же, не любитель подобного «развлечения», отправился бродить по лесу, не зная зачем, но не изнывать же от безделья в затхлой будке.

Погода стояла пасмурная, тихая, где-то ближе к рассвету выпала легкая пороша, и все на полу светилось ровным белым покровом, умиротворяя душу, наполняя ее милым торжеством. И даже покалеченный, изуродованный бор не омрачал светлой, какой-то желанной грусти, легкой созерцательности и дивного очарования, исходящего, казалось, отовсюду: с ровного серого неба, от серо-голубого хребта, вид-

неющегося перед глазами, от этих отдельных сосен, от зеленых чащ и даже от брошенных штабелей, тоскливо изнывающих под легким одеяльцем пороши.

Заблудиться я не боялся, но не потому, что лес был испещрен дорогами (это могло сбить с толку), а потому что на севере высилась Качинская сопка, конусообразная, близкая, поэтому не взятая синевой. Это она дала название бору. Она поражала первозданной нетронутостью, хотя под ее подошвой еще оставались пустые дома красивой деревни Качиной в ожидании печальной своей участи сжигания. Иногда, если посмотреть в бинокль, можно было видеть сидящих на воротах глухарей. Нет, не ворон, именно глухарей! Как быстро дичь отвыкает от человека, который перестает ей угрожать...

Я шел по дороге и от нечего делать размышлял над зигзагами судьбы. «Вот, – думал я, – умирают люди,дохнут животные, сгорают деревни, но чтобы умирали реки? Такое возможно только в наш, не очень умный век. Зачем, – жалел я, – вмешиваться в мудрое течение природных явлений? Ведь заменили же водяные мельницы на речках дизельными... Так может случиться и с ГЭСами, когда найдется более выгодный источник энергии. Ну хорошо, взорвут плотину, спустят воду, а что останется на дне вместо бывших лесов, лугов, пашен? Слой ила или что?» Конечно, можно было развивать эту, нравящуюся, точнее, не нравящуюся мне тему, но я увидел на дороге след зайца, да такой отчетливый, что казалось, от него еще пар шел. Я махнул рукой и прошел

мимо, продолжая развивать «распутинскую» (в будущем, понятно) проблему, правда, уже не так взволнованно, потому что внутри меня произошел некоторый сдвиг к окружающей действительности. Я еще не догадывался, что причиной этому послужил заячий след, но уже начинал осознавать, что, пожалуй, можно было бы и поторопить, применить знания, полученные из календаря, на практике.

И уже хотел вернуться к виденному следу, как увидел его вновь. Теперь он шел ровно посередине дороги, потом принял к правой ее стороне, стал каким-то странным и вдруг исчез, оборвался.

«Ишь ты! – восхитился я. – Заяц, а фокусы выкидывает».

Вспомнил по рисунку, что надо вернуться к тому месту, где след начал сдваиваться, а там смотреть по сторонам, пытаясь углядеть, куда сделал скидку хитрец. Вернулся назад. Вот он, одиночный след. А вот и скидка. Тянется к валежине.

Я снял бескурковку и, дослав предохранитель вперед, осторожно двинулся вдоль скидки, держа себя на пределе внимательности... Заяц лениво поднялся с лежки шагах в десяти от меня. Мог ли я промахнуться?

Вдохновленный удачей, пошел отыскивать еще одну сдвойку, нехорошо думая про стариков, которые легкомысленно полагали, что по следу зайца надо идти сто верст, чтобы его выследить. А это, оказывается так просто! (Позже я понял, что не всегда просто, иногда километров пять отмотаешь по следу, пока дошагаешь до первой сдвойки, а попа-

дешь на кормежку, пиши пропало!)).

Вернулся к обеду с тремя зайцами. Разбудил приятеля. Тот очухался от приятных сновидений и вытаращил глаза, пытаясь сообразить, наяву он видит на полу трех белых зайцев или это ему все еще снится. Но наконец сообразил, что не сон, и спросил:

– Где взял?

– Спать меньше надо. Выследил.

– Не говори ерунду.

– Хочешь докажу?

После обеда взял еще трех зайцев, а приятель ходил за мной, таскал добычу и молвил:

– Научи!

– И учиться нечему: все просто. Смотри и соображай...

Добычу мы поделили, как у нас было принято, поровну.

Заячьи фокусы

Могут ли зайцы быть фокусниками? Да ни в жизнь, скажете вы и будете правы: ну какие из зайцев фокусники? Даже при самом сказочном воображении не придет вам в голову что-нибудь подобное.

В теплый, как говорится, сиротский пасмурный день захотелось мне прогуляться по ноябрьскому лесу, понаслаждаться свежей, такой нежной порошей, на которой ни следочка, ни царапинки, подышать чистейшим воздухом. Иду, поглядываю налево, направо. Хорошо!

Старая лесовозная дорога плавно поднималась в гору, по бокам стояли, где часто, а где редко, деревья, которые тоже наслаждались свежестью и легкой порошей.

Вот увидел я след зайца, пересекающий дорогу. Мне пришла в голову мысль, что неплохо было бы увидеть лежку зайца, так называемую дневку, потому что зайцы ведут ночной образ жизни. Не долго думая свернул направо и пошел рядом со следом, чтобы не затоптать его ненароком. Вскоре увидел «сдвойку», то есть заяц поскакал обратно, чтобы шагов через десять-пятнадцать сделать «скидку» в сторону, сбивая таким образом с толку тех, кто бы решил выследить его в качестве добычи. Собаки, лисы обычно не могут понять, куда исчезла такая легкая и вкусная пицца? Но человек-то легко разгадывает заячьи уловки, примитивную хитрость.

Прошагал я до конца «сдвойки» и стал внимательно вглядываться в белоснежную скатерть пороши. Странно. Ни вправо, ни влево не увидел «скидки». остановился в раздумье: справа – чистая полянка, на ней бы след печатался отчетливо, но – увы!

Справа – в двух шагах от «сдвойки» лежало толстое, сантиметров семьдесят диаметром бревно с лежащим на нем нетронутым слоем снега. Дальше, в полутора метрах от бревна стоял невысокий плотный куст, а за ним, в полутора метрах росла густая чаща. В ней и только в ней мог сделать лежку заяц, но как он туда добрался? Ведь у зайца нет крыльев, он не рябчик, не тетерев.

Это меня сильно заинтересовало: такие загадки редко бывают.

Чтобы понять, что не ошибаюсь, что не просмотрел где-нибудь «скидку» в другом месте, я еще раз прошелся взад-вперед по следу.

Нет, сомнений не могло быть: все правильно. Значит, надо идти в чащу, выпугнуть зайца от «лежки» и постараться понять, как заяц сумел так тщательно «замаскировать» след?

Едва я прошел несколько шагов в чаще, как увидел убегающего зайца. отыскать «лежку» не составило труда: вот она – протаявший снег на ней. От нее я пошел как бы «задним» заячьим следом. Вышел на чистое место. След снова исчез, а до «сдвойки» очень далеко. Теперь я стал искать след от «сдвойки». Оказывается, заяц так ловко совершил

прыжок за бревно, не повредив на бревне снег, и приземлился за бревном вплотную к боковине, собрав лапки в одну точку... А дальше что? Ведь до чащи-то ему не допрыгнуть!

И вдруг я заметил, что на кусте сбит снег, значит, заяц от бревна на куст, а с куста в чащу! Вот так вот... Ну скажите, не фокусник? Ведь до такой хитрости надо додуматься. А впрочем, жить-то всем хочется, приходится «умнеть», чтобы не попасть в зубы к лисице, собаке и другим любителям мяса, да и шкура нынче недешевая, хотя и заячья.

Пастух

Мне, студенту, подарили в день рождения маленького щенка. На каникулах я отвез его домой к родителям в деревню: зачем студенту собака?

Через три года приехал в отпуск. Возле дома увидел большого пса охристого покраса с черной полосой на спине.

– Где ты умудрился достать такую диковинную собаку? – спросила меня мать, чем-то недовольная.

– А что? – спросил я. – Кусается, что ли?

– Коровенку заполкала, объяснила мать. – Утром на пастбище угоняет, а вечером – домой гонит так, что ноги мелькают.

– Плохо, что ли?

– Че хорошего? Плохо для молока-то...

Поселились у меня в доме экспедичники перед уходом в тайгу, попросили у матери собаку, чтобы в лес собой взять. Отдала мать пса. А осенью возвратились из тайги экспедичники и давай хвалить пса:

– Весь сезон со свежим мясом жили, консервы все целыми остались. Это не пес, а сокровище...

– Да че так-то? – спросила мать.

– А вот что! Сидишь в палатке, а пес уже сохатого к ней пригнал: непорядок, мол, скотина без присмотра по лесу шляется. Ну если нужда в свеженине – добудем сохатого...

Задумался я: не было на Илиме таких собак, чтобы пастухами были, и сообразил, что подарили-то мне его соседи, которым подарили щенка в Забайкалье. Вот оно что: вырос пес и вспомнил о своем назначении на этой земле.

Погиб пес трагически. Едва экспедиционники вернулись из тайги, как пес бросился под колеса грузовой машины, намереваясь остановить ее: не выносил бегущих. конечно, машина – не корова, не сохатый.

Вступление

*Был мал тогда и вижу смутно
Клуб этот в грезах по ночам,
И что-то помнится поспудно,
Но только не по мелочам.
Мне кажется, что был Покровский
Директором. И был – Смирнов.
Но вот Покровский – был таковский,
Да и Смирнов – сам был таков!
Они уехали куда-то,
Что делать им в краю глухом,
И в этом клубе небогатом,
Который все зовут «Нардом»?
Я помню, как слепой Маланин
К нам в клуб случайно заезжал
И целый вечер на баяне
Сердца людские ублажал.
И помню, как для фронта гнали
Пилоты эскадрилий строй,
И как они в ненастье дали
Концерт и вместе с ним настрой,
Чтоб мы в тылу не унывали,
И что любой из них герой,
И чтобы мы все твердо знали,
Что каждый – первый, не второй!
А вот до этого, бывало,*

*В клуб забежим на пять минут,
Здесь интересного немало,
И репетиции идут.
В фойе на столиках газеты,
Журналы и брошюрок ряд,
На стенах – стенды и портреты —
Восторгом глазки загорят!
И стать захочется культурным,
Читать журналы, песни петь
И закрутиться в танце бурном
Под вдохновляющую медь.
И ты бежишь домой крылатый,
Как будто получил медаль,
Как будто с другом или братом
Стремиться в розовую даль.*

Деревенская память

*Поперепутаны ступеньки
Полузабытых давних дат:
Бегу босой по деревеньке,
Себе, дождю и солнцу рад.
На ветках шишки, как игрушки,
А вот под корни чей-то лаз...
Гляжусь сквозь память на избушки.
В который, будто в первый, раз.
Запечатлеть навек стараюсь
В кассетах памяти своей
Амбары, бани и сараи,
Усталость скошенных полей.
Под каждой крышей помаленьку
Всего: и счастья, и беды,
Не украшают деревеньку
Забвенья быстрые следы.
Еще вчера не хата с краю —
Она должна была стоять,
Кондовая и деловая,
И дорогая всем, как мать.
А вот сегодня почему-то
Исчезла (с легкой ли душой?)
Все получилось очень круто,
А все ли очень хорошо?*

Кормилец

Как любил я мечтать,
Деревенский мальши,
Чтобы жить на земле не без толку.
Говорил сам себе:
Ну, зачем ты глядишь
На висящую в спальне двустволку?
Старший брат ей владел,
Ну а мне, пацану,
Пострелять из нее так хотелось!
Лихо в край наш пришло —
Брат ушел на войну,
И с тех пор не пилось мне, не елось.
Вот в райцентр на работу
Уплыл мой отец,
Заблестела у мамы иголка...
Уловил я момент —
И в руках наконец
У меня заблестела двустволка.
Ух, какая она!
И какие курки!
В гравировке и зайцы и утки.
Прикоснулся к ним
Трепетом детской руки,
Ощущая всю прелесть минутки.
Я патроны в карман —

*И с двустволкой за дверь
На поля, где весенние ливы,
Берегись гуси-утки:
Я с оружием теперь
И такой бесконечно счастливый!
К лыве я подползал,
Прижимаясь к стерне,
Становясь невидимкой, поверьте,
Так не ползал, пожалуйста,
Мой брат на войне
Под свинцовыми ливнями смерти.
Выстрел гулко звучит —
Я немного смущен:
В лыве – селезень. Вот я – убивец!
Ну а вечером был мой отец возмущен,
Только мать похвалила: Кормилец!
И сосед заявил: Молодец, молоток!
А мне «топал» от роду десятый годок...*

Малая родина

*Малая родина, милая родина,
Как же ты мне дорога!
Ты – это все: и лесная смородина,
И за деревней у сосен поскотина,
И под угором седая колодина,
И на покосах в остожьях стога.
Родина малая, родина милая,
Крепко тебя я люблю.
Статью твою доволен и силою
Даже тогда, когда вижу унылою
В горе тебя над сыновней могилою...
Скорбь я с тобой пополам разделю.
Родина малая, милая, славная —
Мирная поступь коров,
Рядом Илима течение плавное,
Рядом поля – это самое главное,
Рядом лесов торжественно полноправное,
Без палачей – тракторов.
Родина дедов и прадедов наших,
Как не гордиться тобой!
Может, и есть где края тебя краше,
Но не для них, за тебя в битвах павших,
И не для тех, кто вскормлен твоей кашей,
Вспоен илимской водой.
Родина малая, светлая, чистая,*

Я – это ты, да и ты – это я.

Нрависься мне ты порой зимней мгlistою,

Нрависься ты и весною ручьиcтою,

Нрависься летом и осенью льдиcтою,

Родина, песня моя!

Немного истории

*Скрипит намазано телега.
Должно быть, едет в ней
Дебил...
Нижнеилимск в начале века
По прозвищу Повостом был.
К чему дебил, к чему телега,
К чему Повост или Погост?
К тому, что жизнь для человека,
Понятно, непростой вопрос.
Конечно, если есть работа,
То нет на сердце маяты,
Трудись, знай, до седьмого пота
И будешь всем доволен ты.
Но вот придут зимы холодной
С тягучей скукой вечера.
Вот тут бы шуткой превосходной
Досуг украсить на «ура».
И даже не хлебнувши бражки,
Михайла Солод врал захлеб,
Как он бежал из каталажки,
И не рысянкой, а в галоп.
Внимали жители, невольно
Не веря Солоду на грош,
Но развлекатель добровольный
Смешил людей и был хорош.*

*И было ладно людям вместе
При тусклом свете камелька
Выслушивать в два уха вести,
Которые издалека.
И те, что происходят рядом.
Вот слух идет, (а это так ли?)
Увидеть собственным бы взглядом
То диво-чудо, те спектакли!
Их политссылные в Нардоме
На сцене изредка дают,
И вот еще: спектаклей кроме
В концертах пляшут и поют:
А на реке, напротив взвоза,
На льду расчистили каток,
Кататься, не страиась мороза,
Идут, лишь ветер на порог
Надвинет сумрак густо-синий,
Войдут, как конькобежцы, в роль.
Для них замысловатость линий —
След от коньков – о прошлом боль.
И керосиновые лампы
Каток готовы освещать...
Не помешал обычай нам бы
Такой, чтоб в избах не скучать.
«Политики» струею вдали
В таежный угол наши медвежий
Ростки культуры привнесли.*

На новом месте

*Вот клуб однажды переехал
В просторный светлый новый дом,
Не дом, а здание. Без смеха
Хотелось звать его дворцом.
В нем для кружковцев комнат много,
Вместительный и гулкий зал,
И я от сцены до порога
Шагов под сотню насчитал.
И все ж строитель – неумеха
Ошибок много допустил,
А я был зал не без успеха
Расширил, но укоротил.
И половину окон в зале
Убрал бы: для чего они?
Неуж строители не знали
Про ледяные наши дни?
А впрочем: что ж, работать надо.
Подъем в душе, огонь в груди,
И костюмерная богата,
И все спектакли впереди.*



*Откуда взялся он, Вовденко
Аркадий Федорович, а?
Такой был плоский, словно стенка,
Но ростом – словно скроен,
Воспитан: вежлив и умен,
Он мне понравился, не скрою,
А кто-то был в него влюблен.
За дело взялся он ретиво
И с появлением майских трав
Поставил зрителям на диво
Комедию «Чудесный сплав».
Потом – «Сады цветут» и роли
Распределив в «Неравный бой»,
А вскоре – выезд на гастроли:
Узнать, что дадено судьбой.
Потом – концерт в ноябрьский вечер.
Когда блеснуть нам удалось.
И в многолюдном зале встречу
«Устроить» с тем, кто возждь, не гость.
Где грим, где клей, а где там букли?
Потерпим с вами мы пока:
И вот Иван Петрович Куклин
«Толкает речь с броневика».
И в зале шум аплодисментов,*

Но нет, не шум, пожалуйста, шквал!
Сыграть воздя на сто процентов!
А кто его гримировал?
...Концерты и агитбригады,
И новогодний маскарад —
И жители района рады,
И сам Воводенко тоже рад,
Но вот – беда, и хмель угарный
Его все глубже увлекал
И он к «методике» коварной
Во имя водки прибегал.
И был уволен. И уехал,
Оставив творческий заряд.
И мне пришлось не без успеха
Его сменить, чему был рад:
Ведь я уже не оформитель,
А режиссер, о чем мечтал,
И пусть я режиссер-любитель,
Посмотрим, что мне скажет зал.
Я «Барабанищину» поставил
Согласно замыслам своим
И в ней Сальинского прославил,
Которого не знал Илим.
В спектакле роль вели толково
И Банищиков, и Дмитраков,
И в главной роли Ковалева...
И каждый из других каков!
Директор школы Агафонов
В спектаклях жизнь другую вел,

То инструктировал «шпионов»,
То как герой-любовник цвел.
Впервые музсопровожденье
Нам удалось в спектакль ввести
В ответ из зала – восхищенье!
Что остается? Да цвести.
Потом решили «Сто четыре
Страницы – ставить – про любовь»,
А это значит – глубже, шире
Насмелились готовить новь.
Пусть это – двадцать две картины.
Но «Сто четыре» – это да!
На ней не встретишь скучной мины.
А вот улыбки – так всегда...
И вновь концерты и гастроли
Агитбригад по деревням...
Распределить в «Стряпухе» роли
Уже нетрудно было нам.
Потом сыграли Макаенка
С «Леванихою» озорной,
И слушали, как в зале звонко
Смеялся наш народной честной.
«Стряпуха замуж» захотела.
«Судьба-индейка» вслед за ней...
Так славно продвигалось дело
В столь бурном темпе наших дней.
В игре любитель благородным
Был, право слово, молодец,
И звание «Театр народный»

Присвоили нам наконец.

РДК

*Районный Дом культуры, значит,
Должны три буквы нам сказать,
Что это клуб, и не иначе
Мы будем буквы понимать.
А иногда еще короче:
ДКа и все. И надо знать,
Что в нем, признаться, между прочим,
Полезно время провожать.
Не раз придется в час досуга,
Как на торжественный парад,
Явиться в клуб и ради друга,
И ради той, которой рад.
И просто так, чтобы забыться
В той атмосфере клубных стен.
Когда и сердце бьется птицей,
И все заботы – муть и тлен.*

Кадры

*Вот – Куклин Николай Степаныч
В открытую, не по углам,
Любил заглядывать в стаканы,
Но не в ущерб своим делам.
Он многоактные спектакли
На сцене ставил, сам играл
«Смастрячив» бороду из пакли,
Ее искусно подстригал.
Он был тираном-режиссером
И консерватором насквозь,
Лишь иногда за жарким спором
Пойти мог с классикою врозь.
Островский, Сухово-Кобылин
И Гоголь, Горький, Лавренев
Любимы Куклиным так были,
Что у него «вскипала» кровь.
Радзинский позже и Софронов,
Шварц, Макаенок и Кирион
Мutilи Куклина до стонов:
Так был он в классику влюблен.
В его характере, столь резком,
Таился взрыв, но не скандал,
То выгонял «актера» с треском,
То вновь его на сцену звал.
Степаныч нравился в моменты,*

Когда Расплюева играл,
Тогда неслись аплодисменты,
Обвалом потрясая зал.
Конечно, он – природный комик,
За жизнь немало повидал,
Ролей не брал серьезных, кроме
Когда «Заслоновым» страдал.
И, женский покоритель бывший,
Рост – средний, строен и красив,
В часы досуга чай остывший
Пил, анекдотом закусив.

* * *

Директора менялись часто:
Зарплата, скажем, с гулькин нос,
Побудет годик-два – и баста,
Уходит чуть ли не в колхоз.
А Николай Степаныч Куклин
По кассе очень не тужил:
Он режиссурой был подкуплен,
Казалось, только ей и жил.
При нем Слободчикова Клава
С азартным блеском серых глаз
(Себе – почет и клубу слава!)
«Лучину» пела и не раз.

Не позабыть мне и артистов
Калошина и Москвина,
Любимова, что мог басисто
Сказать, что «Бедность не вина»?
Точнее, «Бедность – не порок»...
И мой почин довольно труден:
Нет, мне на всех не хватит строк —
А Погодаев, а Зарубин!
В размер фамилии не лезут,
Чуть поднажал – строку сломал,
И не пошлешь артистов к бесу:
Живой за ними капитал.
С фамилиями так прекрасно
Мой очерк мог бы расцвести,
Я постарался бы бесстрастно
Их целый список привести.
И в нем Перфильеву Фаину,
Белову, Гуцину...Других...
Нет, не назвать и половину
Фамилий: очень много их!
Петр Ермаков баян трофейный
Из «завоеванных» краев привез.
И парень бессемейный
Девчатам так тревожил кровь!
Не только музыкой – собою,
Игрой, талантливой такой!
Он мог бы «закрутить» с любовью,
Лишь стоит поманить рукой.
Но не смотрела на волооких

*Красавиц наших Мань и Тань,
«Внедряя» из краев далеких
Сверхмодный танец «падэспань».
Играл в концертах и на танцах,
С агитбригадой весь район
Объехал. Жалко «иностранца»,
То бишь, баян-аккордеон.*

И снова о кадрах

*Как автор я не рад длиннотам.
Но в крупном очерке таком
Не разыграешь все по нотам,
И так жалею я о том.
Кого бы стоило еще-то
Прославить за его дела,
Чья бескорыстная работа
На сцене подвигом легла.
Москвин В. Г. – актер природный,
Во всех спектаклях ярким был.
Ему бы звание «Народный
Артист» я смело утвердил.
А Шестакова наградила
Природа голосом – ого-о!
Он пел и улыбался мило,
И звали Душечкой его.
Еще Чиндяеву Наташу
(Она Говориной была),
Такую говорунью нашу
Вписать бы в славные дела.
А вот и Михаил Мазаник,
Такой медлительный медведь,
Он вдохновенными глазами
Глядел на духовную медь.
Хоть вел кружок*

Музынструментов.

Но все же обожал баян,

И лучше не было момента,

Когда он музыкой был «пьян».

Мазаник – труженник отменный.

Не только баянист – солист!

И точно, был актер бессменный,

Почти заслуженный артист!

Он делал все с такой любовью,

Со скрупулезностью такой,

Порою и во вред здоровью.

Забыв, коль надо, про покой.

Вот Житарев, плясун и комик,

На сцене, как «девятый вал».

То он смешил людей до колик,

То глубоко в грусть погружал.

И мастером был на все руки —

Электрик, плотник и актер,

Нет, никогда не знал он скуки,

Животрепещущ, как костер.

Был инженер – певец Перфильев,

К тому же вдумчивый актер,

Ему лишь не хватало крыльев,

Ох, как бы он их распростер!

И пела Нелли Белоброва

(Пора бы ей «Народной» стать!),

Ее был слушал, слушал снова,

И снова слушал и опять...

Не жизнь была у нас, Малина

*В Нижнеилимском РДКа.
Нет-нет да вспомнится Марина
И легкая ее нога.
Она была миниатюрной,
Хореографию вела
И в нашей клубной жизни бурной
Такою скромницей слыла...
Писал тогда я в стенгазете,
Скорей всего, под Новый год,
В ее столбцах я в «лучшем свете»
Всем выдал порции остроумия;
«Марина – бог хореографии,
На сцене, словно мотылек,
В ее короткой биографии
Все начинается от ног...»
А не от печки, как считалось,
Как уверяли до сих пор,
И как все ошибались малость,
Но пусть все это – не в укор.
И мы ее, как дочь, любили,
От разных стрессов берегли,
И в этом все едины были:
Мы все же кое-что могли.
А вот и баянист Москвитин
Любитель модных сигарет.
Был в разных ипостасях виден.
То композитор, то поэт,
Еще – артист, солист и мастер
По загрузившим вдруг часам,*

*А то, бывало, скажет: Здравствуй!
Где он, желаннейший «Агдам»?
О Погодаеве Алеше
В газете строки я писал,
Что парень, может, он хороший,
Но хвастунам всем фору дал.
«Алеша покори́л Урал,
Урал к его ногам упал,
Так почему же перед ним
Непокоренным тек Илим?»
А вот и Саши, Ступин Саши,
И на его груди – баян,
Солист, артист и скромность наша.
Ему талант от Бога дан.*

Послесловие

*Еще бы многих в этот очерк
Я с удовольствием вписал.
Но испортился мой почерк,
Должно быть, очень я устал.
Прошу простить меня за это
Всех, про кого я «позабыл».
Другие явятся поэты,
Чтоб этот очерк полным был.
В Нижнеилимске – дно морское,*

*И, поплутав, наш РДКа
Возник с пропиской городскойю
В Железногорске на века.*

Паренек из деревни Зыряновой

*Академику Михаилу Кузьмичу Янгелю –
уроженцу деревни Зыряновой, что на Илим*

*Зима. В берлогах спят медведи,
Под снегом пашины и трава.
Скрипят полозья: Минька едет
Вдоль Солянушки по дрова.*

*В Илим впадает Солянушка —
Речушка в десять трудных верст,
На устье – вся в снегу – избушка,
В ней трудно выпрямиться в рост.*

*За поворот ушла деревня,
Дымами вперяся в облака.
Застыли царственно деревья
В роскошных шубах куржаса.*

*Пни, наряжась в ушканьи шапки,
Их заломили набекрень.
На высохшей еловой лапке
Поет пичуга: «Дзень да дзень».*

*Дорога вьется между сосен,
Вползая глубже в стылый лес.
Мороз жесток, мороз несносен,
Под шабуришкой Миньке влез.*

*И Минька бил о ногу ногу,
В мохнатках пальцы яро жгал,
Но все же спрыгнул на дорогу
И за санями побежал.*

*Согрелся возчик мало-мало,
На пялы плюхнулся пластом,
По ветке белка пробежала,
Мелькая дымчатым хвостом,*

*И затаилась, скрывшись в хвою,
Лишь с веток сыпал снежный пыл...
Жаль, взял отец ружье с собою,
А то бы белку сын добыл.*

*Бежит Каурка тихой рысью,
И Минька вертит головой.
Любуется небесной высью,*

Таинственной и голубой.

*Родная, милая сторонка,
Влюблен в тебя и стар и млад,
Здесь горе – горько, счастье – звонко,
Порою – рай, порою – ад.*

*Трудись, старайся, жить-то можно,
Пусть не щедра природа здесь.
В суровой стороне таежной
Для жизни все, что надо, есть.*

*В борьбе упорной, долгой, нудной,
В поту, в мозолях хлебороб
Берет хлеб с пашни многотрудной
Чуть не с пеленок и по гроб.*

*И рыба не дается даром,
И зверь в лесу – не тут как тут...
Везде-везде, в большом и малом —
Непереходящий тяжкий труд.*

*Но все же на родной сторонке
Бывают часто вечера,*

*Когда гармонь зальется звонко
И длятся пляски до утра.*

*Поют девчата в хороводе,
Пыль от черков и от сапог...
И вдруг при всем честном народе
Обнимет девку паренек...*

*И кто-то ахнет, кто-то ухнет,
И кто-то крикнет: стыд и срам!
Усталый месяц в небе тухнет,
Пора, пожалуй, по домам.*

*...А Минька едет, едет, едет
Вдоль Солянушки по дрова.
Он знает: есть на белом свете
Столица все страны – Москва.*

*Студентом Горной Академии
Стал Костя – старший Минькин брат,
Зовет к себе в Москву все время и...
И пишет: будет очень рад.*

Зимою Минька в школу ходит.

Учитель книгу дал одну:
Жюль Верн – писатель чудный – вроде
Попасть стремится на луну.

Мечтает Минька, чуть тоскуя,
А в небе облачко плывет...
Машины сделать бы такую,
Такой небесный звездолет.

И до луны добратся можно.
Потом до звезд (и аж притих!).
Узнать, что там? Вполне возможно,
Жизнь существует и на них.

Какая жизнь? Какие люди?
На что похожи, как живут?
Что здесь, у нас-то, с ними будет,
Жить смогут или же помрут?

А вдруг у них там все толково:
Машины паирут, сеют, жнут.
Нажал на кнопку – и готово:
Еда любая тут как тут!

*У них, быть может, климат южный
И совершенно нет зимы!
Дрова пилить, возить не нужно,
А мы в Сибири. Мерзнем мы.*

*А вдруг они и войн не знают,
Ни драк, ни ругани, ни слез?
Ну размечтался, замерзаю...
Какой отчаянный мороз!*

*Окоченелый, на дорогу
С саней он прыгнул, побежал,
Разогреваясь понемногу,
Но лопнул ичиг. Вот скандал!*

*Торчит наружу стелька сена
Из лопнувшего передка,
А вдоль дороги по колено
Лежат нетронуты снега.*

*А если снег набьется в ичиг —
Нога отмерзнет в пять минут.
«Мохнатку, что ли, с рукавичек
Снять и на ногу натянуть?»*

*Но без мохнатки мерзнут руки...
Домой вернуться? Ай-я-яй!
Что люди скажут? Мол, от скуки
Коня гоняет, шалопай!*

*Нет, нет! Обратно нет дороги:
Без дров домой никак нельзя!»
Бежит Каурка мохноногий,
Полозья в колее скользят.*

*А в ичиг проникает холод.
«Тпру – у!» – Минька лошади сказал.
Остановил Каурку. Повод
Ременный споро отвязал.*

*Перевязал потуже ичиг —
Исчезла щель – ноге тепло.
В кустах заметил Минька птичек,
И стало на душе светло.*

*Но как он резко, зимний воздух,
Вдохнешь поглубже – кашель враз,
«А там, на этих дальних звездах,
Такой же воздух, как у нас?»*

*А вдруг у них такие зимы,
Что нам не снились на Земле?
Такие, что и на Илимe
Казаться будет: ты в тепле!*

*А может, там – нужда и голод,
И войны длинной чередой?»
Навстречу едет дядя Солод,
Рукой машет: – Минька, сто-ой!*

*Разъехаться нам, паря, надо...
Сворачивай коня в объезд.
Да ты, глядя я, как с парада!
А стельку, паря, конь не съест?*

*Сам улыбается лукаво,
И на усах сосульки льда.
Сворачивай сюда, направо...
Что лопнул ичиг – не беда!*

*Какой же ты сметливый, паря,
Уже и вырос в молодца.
Глядя, не тратишь время даром*

И дело делаешь до конца.

*Смутился Минька и, краснея,
Чуть отвернулся: «Смех-то смех,
Что прошва лопнула, черт с нею,
Да нет бы спрятать ногу в снег?»*

*– Да чем, Василий Иннокентич,
Бежал я – ичиг подошел...
– А твой отец, Кузьма Лаврентич,
Иишо с бельковья не пришел?*

*– Нет, не пришел.
– Ты че не в школе?
– Дровишки кончились почти,
Вот пропускаю поневоле
Уроки.*

*– Едем, ты прости:
Пока помочь тебе не в силе...
Вот рази доху? На, бери!
У Солода кобыла в мыле.
– Ну, трогай, леший задери!*

*Полозья тяжело заскрипели:
На санях дров – почти сажень.
По сторонам стояли ели,
Бросая на дорогу тень.*

*И Минька завернулся в доху,
На пялы сел. В дохе-то – рай!
Теперь ему совсем не плохо,
Хоть на Чукотку поезжай.*

*...Скрипят полозья все напевней,
У Миньки на душе светло:
Везет по улице деревни
Домой желанное тепло.*

Михаил Зарубин

«Позови меня, тихая родина...»

Посвящаю дочери Анне

Начало. Санкт-Петербург – Иркутск

В последние годы во время поездок по городам. России, а особенно в заграничных деловых командировках, экскурсионных турах меня все чаще одолевает какое-то странно-тревожное чувство – очень похожее на обиду. Но на кого, за что? Потом догадался, на самого себя. Мне не дает покоя сознание, что полмира объехал и все езжу, а родную деревню не знаю, не помню, как будто не был там никогда.

А ведь был. В паспорте написано: родился в деревне Кеуль Иркутской области. И семь месяцев смотрел на руках матери из младенческих пеленок и на ангарскую многоводную даль – всю в хвойной оправе крутых берегов, и на бревенчатые избы в резных оконных наличниках, и в глаза отцу, и в лица ближней и дальней кеульской родни. А потом мать ушла от отца. И мы отправились в районный центр Нижне-Илимск,

по сути – в никуда, чтобы начать жизнь с чистого листа. Скинулись по съемным углам, мать бралась за любую работу. Окончательно обрели мы свой дом, когда перебрались в ближайшую (через речку Илим) от райцентра деревню Погодаеву. Там и прошло детство. Туда не раз и приезжал потом на побывку, в родные места. А Кеуль – что Кеуль? Как-то все не туда дороги. А ведь это и есть настоящая родина. Не широко известное место, но для меня все равно самое знаменитое, самое главное, я здесь родился. Рядом сейчас строится Богучанская ГЭС, и деревне – узнал – грозит затопление, там уже нет никого, перевезли всех в другое место. Еще немного и увижу свой Кеуль вовсе.

Я никакой не мистик, но готов утверждать: с родными местами, как и с близкими людьми, у нас существует незримая, постоянная и нерушимая связь – какие бы расстояния нас не разделяли. Я уехал из Погодаевой в 14 лет: мать тяжело болела и договорилась со старшим сыном, что я поживу у него в городе Черемхово под Иркутском. Думал ли я, что ее болезнь может оказаться смертельной? Сейчас, уже пережив ее по возрасту, могу сказать честно никогда. Как это так, мама может умереть? В мыслях не было. Поэтому и сборы в дорогу были легкими, радостными. Хотелось увидеть места, где ходят трамваи, автобусы. (Спасибо школе и моей учительнице Валентине Ивановне Куклиной – всю жизнь свою я вспоминаю о ней с благодарностью – поездку оформили на областной пионерский слет. Для нашего проблемного се-

мейного бюджета это вышло очень кстати. Кроме того, была и психологическая поддержка, я как бы просто не на некоторое время уезжал по школьным делам).

Помню, как, собрав свои скромные вещи, подошел к маме, она взяла мои руки, прижала их к своим щекам, и ладони мои тут же стали мокрые. Не могу вспомнить наш разговор, придумывать не хочу, но полные слезу голубые мамины глаза, смотревшие на меня в последний раз, не забуду. Так и осталась в памяти: наша «зала», кровать у кухонной перегородки, на которой лежала мама, тонкие ее худые руки, высохшие от болезни, и я перед ней.

Быстро бежит время, позади слет, новые друзья. Середина короткого сибирского лета. Но еще не тянет в деревню, и даже о маме вспоминаю редко. Но однажды вдруг какая-то неведомая сила подняла меня с постели рано-рано. На часы не смотрел, примерно часов в пять. Никогда раньше со мной такого не было, обычно успевал только голову донести до подушки и спал, пока не разбудят. А тут ни в одном глазу. Вышел на крыльцо, уютный такой рассвет, синее-синее небо, солнце встает, ласковые лучи уже греют. Я подумал о маме, как она там, давно не виделись. Вокруг благодать, а у меня какая-то тревога. Не было, конечно, никаких мыслей о маминой смерти, их не могло быть, но что-то беспокоило – это отчетливо помню. Долго сидел на ступеньках крыльца. Потом пошел досыпать. А в конце дня пришла телеграмма, умерла мама. После, сестры, которые в это время были при

маме, рассказывали, что она умерла в пять утра и все повторяла перед самой смертью: «Миша, Миша, как мой Миша...» Звала. Этот зов меня, выходит, и поднял. дошел за тысячу километров. По времени все совпадает.

Как дошел – когда-нибудь эту связь обязательно расшифрую. Я свято верю, что она есть, не может не быть. Как без нее? У меня же она была. Звал меня самый родной человек, роднее не бывает. Никогда после этого со мною подобного не происходило. Было ли в этом что-то сверхъестественное? Да вроде нет, все обычно, я бы даже сказал – обыденно. Но этот миг запомнился на всю жизнь.

Не знаю, как это бывает у других, но у меня детство закончилось в тот день. 18 июля 1960 года, как мама ушла, я остался один. И скоро понял, как страшно без мамы. Как страшно разговаривать с ней только мысленно.

Какой я ее помню? Мне повезло, я был последним у нее, «поскребышем», как говорили у нас в деревне. И всю свою нерастрченную любовь она отдала мне. Жаль, по-настоящему понял это много позже. Казалось – обычная жизнь, всегдашние мамины добрые глаза, ее радость от моих успехов. Не было у нас частых поцелуев, сюсюканья, красивых слов. Но я всегда знал, что маме дорог. Она берегла меня, защищала.

Однажды, еще до школы – лет шесть было, мне больше – играл с приятелем. И забрались мы с ним на колхозный скотный двор. Коровы на выпасе, и мы – несмышленыши развели

там большой костер. Случился пожар. Хлев обогрел, разборки были большие, неприятности для родителей огромные. Приятеля мать были смертным боем, до того, что изувечила. Врачи не спасли, мальчишка умер.

А моя мама прижала меня к себе, все гладила и просила Господа о помощи. Просила Его дать мне, неразумному, ума и не отпускала меня. Ответ за все держала сама.

Она много работала, днем в колхозе, вечером допоздна дома. Короткий сон, снова день, и все сначала. У нее не было зла на эту жизнь, она радовалась добру и горевала, когда приходила беда. Работала в колхозе в полеводческой бригаде. начиналась та работа с весны, когда за сеялками взвивались вихры пыли. И трудиться надо было днем и ночью. Летом – трава – сорняк лезла быстрее посевов. И под палящим солнцем, под дождем, в три погибели согнувшись, надо было заниматься прополкой. А подходила осень – жатва вручную. Я знал эту работу, у меня да же свой серп был. Однажды им порезал нечаянно палец, и шрам до сих пор так и остался. Мама жала хлеб, вязала колосья в снопы. (Иногда и я помогал ей, чем был невероятно горд.). а потом их свозили в гумно и молотили – иной раз просто цепями. Адова работа. Но маме приходилось выполнять и две такие.

Когда сестра Капитолина, которая работала дояркой, вышла замуж, оказалось, что из колхоза к мужу отпустить ее не могут, замены нет, некому передать ее буренок. Председатель колхоза имел право не выдавать паспорт, а без него

никуда не уедешь. Таковы были законы советского крепостного права на селе. Мать по начальникам обила все пороги, но Капитолину согласились отпустить с условием: «Возьмите коров, которые обслуживает ваша дочь, ухаживайте за ними, тогда пожалуйста...» И ради дочери она пошла на это – выполнять двойную работу. Ей тогда были почти пятьдесят лет. В этом вся наша мама.

Деревенские звали ее Нюрой, но однажды я услышал, что правильно ее звать Анна. Узнав ошеломляющую новость, влетел домой и закричал:

– Мама, мама, ты не Нюра, ты Анна...

Она рассмеялась, прижала мою голову к себе и сказала:

– Правильно – Анна. Но все с детства меня зовут Нюрой.

Это одно и то же.

– Но Анна же красивей, – сказал я.

– Ну вот и зови меня Анна, раз красивей.

Но для меня она осталась – мамой. Иначе я не мог называть ее. Это имя для меня самое красивое и святое.

И вот не мог я услышать, когда она меня звала в последний свой час. Уверен, что и места, где мы появились на свет, – они словно близкие люди, словно родители. Потому у нас с ними те же отношения. И они зовут, когда им плохо, просят не забывать. Не я один, конечно, о том знаю. Многие давно заметили. Есть даже песня: «Позови меня, тихая родина, на закате дня позови...»

Ностальгия – довольно сильное чувство. Медики гово-

рят, может даже стать болезнью. Буквально: это «форма реактивного состояния, обусловленная полной или частичной утратой связей с родными местами. Основными проявлениям стадиях «нарушаются сон, аппетит, снижается масса тела, падает работоспособность, получают развитие сердечно-сосудистые заболевания». А лучшее лекарство – возвращение в родными места, свидания с ними. Вот что-то похожее случилось и со мной. А раньше ничего подобного не испытывал. Не до того было.

Я давно человек городской, но деревня всегда в памяти. Мне нравилась деревенская работа. Лет с десяти я уже ее участник. Любил сенокос. Нам, пацанам, поручали лошадей, жили в полусотне километров от Погодаевой – луга, дурман-ный настой высоких трав, речка, тайга, свобода... Та же, в общем, сибирская красота, что и в Кеуле, о котором, понятно, тогда и не вспоминал. Мне с первых уроков нравилось учиться, и в школу ходил с радостью, отметки получал только самые высокие. Писал стихи, хотел стать поэтом, на ху-дой конец – легчиком. И вскоре получил признание, правда, в кругу сотоварищей, учащихся Иркутского строительного техникума. заслужил даже лауреатское звание. И вслед – назначение ответственным за художественную самодеятельность и ведущим наших студенческих концертов. Пользуясь должностным положением, время от времени объявлял со сцены: «Михаил Зарубин. Стихи». И читал свои новые произведения. Как потом выяснилось, не зря старался. Среди

благодарных слушателей оказалась студентка Нина, которая через некоторое время стала Ниной Андреевной Зарубиной, моей на всю жизнь женой. А я получил диплом строителя. И сразу попал на одну из самых серьезных строек страны тех лет – Иркутского Академгородка. А потом и объединение «Кировский завод» в Ленинграде. После строил в городе на Неве жилые дома, кафе, рестораны, театры – все, что надо. И, видимо, неплохо, если присвоили звание «Заслуженный строитель России», «Русь Державная», признание четырьмя медалями и званиями – «Почетный строитель России», «Почетный архитектор России», «Строитель России 2006». Причем нынешний титул – «Строитель России» не просто профессиональный, им награждают за заслуги в государственном строительстве новой России.

Хотя какой я тут участник? В партии не вступаю, правда, в помощи им не отказываю. А делаю свое дело – строю здания самого разного назначения.

Попутно же в жизни случается много всякого неожиданного, загадочного, смешного и грустного. Меня грозили исключить из партии (коммунистической) и выбрали на съезде той же партии. Я беседовал с легендарным оппонентом Ельцина Лигачева («Борис, ты не прав!»). Читал симоновские стихи вместе с самим Константином Симоновым. По недосмотру охраны оказался в окружении Михаила Горбачева и вместе с ним кланялся саркофагу Ленина. Власти советских времен грозили мне волчьим билетом. Демократы первой

волны посылали в Италию закупать передовое строительное оборудование – вовсе, как оказалось, далеко не передовое. А демократы второй волны командовали в английский Манчестер осваивать передовые технологии, но теперь вот выяснилось, что если мы не найдем способ ликвидировать нынешний искусственный дефицит земельных участков под строительство в нашем городе, никакие технологии нам не помогут. И это меня, сегодняшнего генерального директора известного в городе 47-го строительного треста, волнует больше всего. Пытаюсь достучаться до нынешнего чиновника с этой своей правотой, но результата пока нет.

Читаю «Ностальгию» Александра Городницкого: «О годах, что стали далеки (нынешние суетны и плохи) по ночам вздыхают старики – эмигранты смею поспорить с уважаемым мною поэтом: эпохи не вымирают. Прошлое живет в настоящем. А настоящее в будущем (говорят же: «Будущее начинается сегодня»). Само деление на эпохи – придуманная людьми условность. Смешно, конечно, жить в прошлом, только ему поклоняться, как это делают герои Городницкого, но и забывать о нем нельзя. О чем ради нашего блага не могла не позаботиться человеческая природа. Она мной и руководит, мне некогда «вздыхать по ночам», но мне интересно, кто, как, чем живет сегодня в деревеньке моего рождения, моего младенческого детства. И знание, память об этом не просто лекарство для души. Став строителем в большом городе, я постоянно вспоминал наш сибирский дом, огра-

ду, весь в зелени двор. И меня с тех пор не покидает мечта строить в городе нечто созвучное тем воспоминаниям. Чтобы росли кварталы наших многоэтажек не вместо природы, а вместе с ней. Чтобы городской комфорт в обязательном порядке включал в себя и сельский – тот, какой помню это и будет мое прошлое в настоящем.

От Санкт-Петербурга до Кеуля, если по прямой, тысяча пять километров будет. Выбирая для себя время года, в оправе которого хотел бы увидеть родину, тысячу дум передумал. Осень – сибирское великолепие, огненные кусты, янтарные к жизни, первые цветы, первая зелень, ледоход на реке. Люблю зиму, такой красоты, как у нас зимой, не увидишь нигде. Но для поездки выбрал лето, когда природа полна жизни и сил. Среди полей, лесов зеленых, при полноводной Ангаре захотелось увидеть Кеуль.

Наконец решился. Благо жена и дочь Анна поддержали и отправились со мной. Самолет пролетел через всю страну, и вот долгожданный Иркутск, знакомые улицы, родные лица, Ангара. Увидев мост, когда ехал к родственникам, вспомнил свое мальчишеское стихотворение о нем.

*И мост, словно кот выгнул спину,
Подставив ее под людской поток.
А в дальней дымке я вижу плотину,
Дающую людям ток.*

Родственники удивлены, зачем мне эта поездка в Келью?

Никто об этом прямо не говорит, но я читаю вопрос на лицах. Иркутск, впрочем, тоже не чужой мне город. Здесь прошла юность, родились две дочери Анна и Наташа. Мне дорого здесь все, и современные многоэтажные здания, и уютные в деревянных кружевах узорные деревенские дома, строения разных архитектурных стилей. Иркутску больше трех веков. Он постарше Санкт-Петербурга. История, судьба этих городов тесно связанных друг с другом. Если первый – это окно в Европу, то второй – можно сказать, дверь на Восток, в Китай, Японию и Корею.

На берегу Ангары – Иркутский Академгородок, мне выпало счастье участвовать в его строительстве и жить в этом удивительном уголке. Разве забуду я станцию искусственного климата – фитотрон Института физиологии и биохимии растений? В мое время эта станция была единственной в стране. Откроешь одну массивную дверь, и в лицо ударяет упругая волна горячего воздуха. Мощные люминесцентные лампы льют ослепительный свет на стеллажи с растениями. Ощущение такое, будто попал в заволжскую степь, когда над ней проносится обжигающий суховей, а в соседней камере холодно, тусклый свет, словно в серый осенний день, пушистые кристаллы инея белеют на листьях растений.

Так, переходя из помещений в помещение, путешествуешь по разным климатическим зонам страны, попадаешь в разные времена года. Здесь можно создать любую температуру воздуха и почвы, вести опыты при разной длительной

дня, интенсивности и качестве света.

Сколько открытий сделано! Я до сих пор горжусь, что в строительстве станции и всего института принимал участие.

Это было первое для меня трудовое поприще. Спасибо Павлу Арнольдовичу – мужу сестры моей жены, который поспособствовал, чтобы приняли прорабом. Работа оказалась и престижной, и интересной. Я забывал о времени, после работы уезжал в институт учиться. Вырастали новые корпуса Академгородка, по другую сторону улицы Лермонтова строились жилые дома, школы, детсады, торговый центр, дом культуры. Был он прекрасен – Академгородок. Вместе с ним росли мы, учились в институтах, рожали детей. В старой части Иркутска неповторимы архитектурные ансамбли Драмтеатра и Театра музыкальной комедии. А нарядные здания в мавританском стиле – краеведческий музей. На фризе каменные строки, которыми увековечены имена исследователей Сибири. Дальше элегантный деревенский домик семьи декабриста Трубецкого. И Ангара, которая не похожа ни на одну реку мира. Уже в самом своем истоке ширина ее 800 метров. Прорвав каменную гряду, она вырывается на простор. На языке аборигенов – эвенков и бурят – «ангай», «ангара» означают разинутый, открытый, зияющий. Или – расселина, ущелье. И как верно схвачено: Ангара в своем истоке, прорезав горы, стремительно несет свои воды по расселинам и ущельям. И они как открытая пасть, жадно пьющая воду Байкала.

Она здесь яркого бирюзового цвета, прозрачна и чиста, как горный хрусталь. Когда стоишь на иркутском мосту, в хороший день видишь на дне камушки, мальки рыб.

Река прекрасна в любое время года. Зимой клубится холодным туманом, а летом несет прохладу. Купаясь в Ангаре, мы обычно выбирали места, где вода немного прогрелась, но и там температура была не больше пятнадцати градусов, потому мы быстро влетали в воду и еще быстрее вылетали обратно.

А разве забыть студгородок! Никогда. Это неповторимое время – учеба в техникуме. Иркутский строительный техникум транспортного строительства – моя юность, место встречи с моей Ниночкой. Это пора моего взросления, это мир знания. И наконец, дружба, какой не встречал потом.

История крупнейшего сегодня отраслевого учебного заведения в Восточно-Сибирском и Дальневосточном регионе неразрывно связана с созданием Великого Сибирского пути. Завершение его строительства в короткие сроки – результат самоотверженного труда тысяч инженеров, техников и рабочих-строителей.

Прообразом технических железнодорожных училищ и техников транспортного строительства стали вечерние технические классы, созданные в Иркутске по Указу императора Николая II в 1902 году. Такое было рождение нашего техникума. Уже больше века длится его жизнь.

В его классах готовили дорожных мастеров, помощников

машинистов и других специалистов. Я поступил сюда в 1961 году. Мне было пятнадцать. Ощущение свободы студенческой поры, жизнь в общежитии, различные подначки, шутки – все это, кажется, было вчера. И конечно, я помню дорогих преподавателей: Георгия Яковлевича Игнатьева, Георгия Васильевича Хохлова, Александра Ивановича Спиридонова, Константина Викторовича Косыгина, Алексея Михайловича Касьянов и многих других.

Под руководством Александра Ивановича Спиридонова в 1972 году создается музей техникума. Низкий поклон этому обаятельному человеку, увлеченному историей, он всегда изучал добро и душевную теплоту. Уже будучи взрослыми людьми, опытными руководителями, мы при встрече с ним робели, как прежде. И, как всегда, с большим вниманием прислушивались к его советам. Для меня он всегда будет Учителем. Благодаря ему я знаю хорошее правило: «Учитель не тот, кто по должности выше, учитель – тот, кто учит».

Выпускники становились специалистами высокого уровня и принимали участие во всех транспортных стройках: дорог Абакан – Тайшет, Тайшет – Лена, Хребтовая – Усть-Илим, Учть-Каменогорск – Зыряновка, Курган – Пески. А также в реконструкции и электрификации Западно-Сибирской и Восточно-Сибирской магистралей, Западного и Восточного участков Байкало-Амурской. Выпускники техникума – Герои Социалистического труда: П. И. Панарин, Ф. В. Ходаковский, И. Н. Варшовский, Ю. Бондарь. Я горжусь на-

шим техникумом. Для меня, сельского мальчишки, знания, полученные в нем, стали базой для взрослой жизни. Рядом с техникумом – Технический Университет, в наше время Иркутский политехнический институт, но это другая история и другой рассказ.

Иркутск – жемчужина Восточной Сибири, но лучше Валентина Распутина об этом городе не скажешь: «Стоит Иркутск, умудренный историей и жизнью, спокойно и мудро, зная себе цену, в меру знаменитый и прежней славой, и новой, в меру скромный, издавна культурный, традиционно гостеприимный... Стоит Иркутск, наделенный долгой и взыскательной памятью камня своего и дерева, с любовью и немалым удивлением взирающий на дела нынешних своих граждан, по родительски оберегающий их от зноя и холода, дающий им жизнь, приют, работу, родину и вечность».

Из Санкт-Петербурга казалось все просто. На самолете до Иркутска, а с Иркутска до Усть-Илимска на борту местного рейса. Память сохранила, что в те «застойные» времена самолеты летали в Усть-Илимск из Красноярска и Иркутска, а это связь со всем миром. Но это в прошлом. Огромный в Усть-Илимке аэропорт разграблен, разбит. Разруха и бесхозяйственность. Помню у Александра Вампилова, который в юности бывал в Кеуле: «Туда ведут две дороги, одна воздушна, другая по воде». И сейчас две дороги, только не такие скорые, как воздушная, – автомобильная и железная. Выбрал автобус. В своей жизни на такое дальнейе расстоя-

ние подобным транспортом пришлось ездить однажды. Было это в Египте. Тогда нас (меня, жену, дочь, и трех внуков) какие-то мошенники уговорили, скорее, заговорили на якобы, «великолепное» путешествие из Шрам-эль-Шейха в Каир. Это была дорога в аду. По раскаленному Синайскому полуострову в автобусе, напоминающем наш пазик, без кондиционера с незакрывающейся (поскольку была сломана) дверью. Все 500 км до Каира я, атеист, молил Господа отвести от нас беду.

Вот и сейчас, когда я увидел автобус, на котором нужно было ехать мне и дочери, вспомнился тот рейс. Одно утешение, что впереди не Синай и кроме нас еще 40 смельчаков.

Мы стояли с Ниной друг перед другом. Конечно, не видеть беспокойства в ее взгляде я не мог. И так уже получилось, что мы никогда не разлучались больше чем на световой день. Притом, постоянно перезванивались – теперь существует мобильная связь. А здесь я был передан в руки старшей дочери Анны. Она очень похожа на карнауховскую родню, и имя у нее тоже мамино. Самое удивительное, во времена ее появления на свет мы еще не могли заранее определять, кто у нас будет – мальчик или девочка, но хотели, чтобы родилась Анна или, как ласково теперь зовем ее – Анята. И она послушно родилась.

Все, в автобус тронулся, прощальные взмахи жене, которая осталась в Иркутске, мост через Ангару, у поселка Жилкино, мы в пути. Завтра я увижу Кеуль.

Дорога Иркутск – Кеуль

Итак, 700 километров. 14 часов на автобус. Конечно, это не раскаленный, как сковородка, упомянутый Синай. Родные сибирские просторы, нормальная погода начала лета. Дорога в порядке: ни грязи, ни рытвин, местами асфальт, местами накатанная грунтовка. И автобус как автобус. Комфорт, правда, далеко не международного класса, но терпимо. Не мой это транспорт, когда такие расстояния, да выбора нет, самолеты к нам в Кеуль теперь не летают, пароходы не ходят. А по железной дороге добираться долго. И я приготовился стойко переносить все лишения. Чтобы ни было – надо. Еду на родину. Я не знал тогда, что скоро меня начнет одолевать дискомфорт совсем другого рода, на первых же остановках появится ощущение постигшего эти края какого-то рокового неотвратимого бедствия, с которым все смирились и покорно ждут своей участи.

В молодые годы я часто ездил по этой дороге до города Черемхово и сейчас ждал встречи с городами, которые помнил и знал. Я же деревенский, и каждый более-менее приличный из них город казался мне Парижем. Вот – Ангарск. Когда я жил в Иркутске (лет тридцать с лишним назад), это для нас точно был Париж. В крайнем случае, Москва. Обеспечение по первому классу. В магазинах все есть. (По тогдашним меркам, конечно). Предприятия нормально рабо-

тают. Население около 200 тысяч. Молодой город, с современной архитектурой, новенькими зданиями, стрелами прямых широких проспектов, удачно вписавшихся в типичный сибирский пейзаж с раздольной рекой и дикой тайгой. Авторы – московские и питерские проектировщики.

И вот я снова здесь. Я за это время, наверное, моложе не стал. Для человека прошедшие годы – возраст. Но не для города. А что я вижу? Вроде бы Ангарск. узнаю. Но с большим трудом. Сразу явилось сравнение: это как в горестных случаях: после некоторой разлуки видишь хорошего знакомого, который за это время успел вконец спиться и стать обрюзгшим, не по возрасту старым. Я видел те же улицы и дома, но все пожухшее, грязное, неумытое, запущенное. И нет никакой стройки. Вообще. Башенных кранов нет. Не увидел ни одного, как ни искал, всматриваясь в панораму поблекшего города моей юности. А это самый плохой признак. Если люди нормально живут, у них растут семьи, они стараются получше обустроить свою жизнь и, конечно де, обзаводятся жильем получше, покупают дома, новые квартиры, ремонтируют, реконструируют, отделявают старые. Заранее оправдываясь, говорю, весь город не видел, а только ту часть, где шел автобус.

Следующий город через 80 километров от Иркутска – Усолье Сибирское. Тут у меня жили друзья, родственники. Я смотрю и снова глазам не верю: заколоченные фанерой, досками окна. И тот же общий неприглядный вид...

Даже порадовался, что город Черемхово, где жил у брата почти год, когда учился в 8-м классе, мы проехали стороной. Это почти что родные места, и я больше всего боялся, что и там увижу разруху. А мне он запомнился, как городок аккуратненький, ухоженный, в котором было полно таких, как я подростков, молодежи, была деятельная интересная жизнь. Понимаю, кто-то мне может сказать: в молодости вообще все было лучше, даже водка слаще. Но именно потому, что понимаю, стараюсь быть объективным.

Только год я прожил в Черемхово, но год этот показался мне очень долгим. Он стал первым без мамы. Это была жизнь у чужих людей, хотя они приходились мне близкими родственниками. Брат, занятый на работе, загруженный общественными обязанностями, был он депутатом областного Совета, членом Иркутского обкома партии, дома появлялся редко. А когда появлялся, его жена жаловалась на мое поведение, и он делал мне строгие внушения. Все было на пределе. Иногда, играя с ребятами, пропускал контрольное время, после которого дверь в доме закрывалась до утра. Ночевать приходилось в шахтерских раздевалках. А утром слушать в свой адрес высказывания, какой я плохой. Здесь я впервые попробовал вкус папиросы и до пятидесяти трех лет не мог избавиться от этой пагубной привычки. ЦЭМ, ЦЭС, шахта им. С. М. Кирова стали родными местами, я до сих пор их помню.

Все было. В Черемхово впервые стал участником художе-

ственной самодеятельности. Есть даже снимок, где на городском стадионе, при большом скоплении народа читаю стихи. Как бы ни был сложен этот год, я вырослел. Иногда добрые люди помогали мне. Природа брала свое, я из пацана-малолетки становился юношей, жалко не было рядом мамы. А вот школа, класс не запомнились – не было друзей. Городок же Черемхово стоит перед глазами – зеленый, уютный, шахтерский – с огромными територниками, отвалами породы.

Он остался где-то сбоку и сзади, дальше пошли Куйтун, Тулун, Зима, Саянск. Это все исторические места. С ними связаны освоение и колонизация Сибири. крестьянское заселение края началось в конце XVI века. Сначала в западной части – по Иртышу и его притокам Ишиму, Тоболу, Исети. Затем – восточный: от Енисея по Ангаре и Илимму к Лене. В этом освоении участвовал Петр I, все пришедшие вслед за ним российские императоры, многие достойные ученые, промышленники, путешественники, предприниматели. Освоение происходило и в царские, и в советские времена. С переменным успехом, но происходило. А сейчас что – Сибирь никому не нужна? Я смотрю на привычные места, и они меня пугают. Чем дальше, тем больше растет ощущение, что этот богатейший край со всей своей необыкновенной северной красотой на глазах хиреет. Какая красота, если я только и вижу перекошенные дома, кривые ворота, разбитые ставни, слепые окна. И почти одни старики в этих полуживых городах и поселках.

Во времена моего детства, помню, в деревне тоже кто-то иной раз бедствовал, не без этого. Он бедолагу обычно выручали всем миром. Это называлось «помочь». Не помощь, не глагол помочь, а именно такое новообразованное существительное женского рода с ударением на первом слоге – «помочь». Мама тоже к ней прибегала, когда нас срочно надо было переделывать в доме русскую печь и ворота. Помню, пришли мужики. Все сделали, как надо, а им за это угощение. Деньги брать было не принято. Печка, ворота получились красивые. Мне понравились. Особенно ворота, обшитые тесом в елочку...

Я это вспомнил, ехал и думал: а почему бы «помочь» на государственном уровне не организовать для всей Сибири? Есть же нефтяные деньги, стабилизационный фонд, о котором много сейчас говорят, спорят, надо его тратить, не надо... Конечно, если просто раздать деньги, скакнет инфляция и тут же все их съест. Все избы с печками на них не поправишь. Но вот если с помощью этого фонда создать условия, которые привлекали бы деловых людей возможностью хорошо заработать, реализовать себя, богатейший край немедля ожил бы. Он же действительно богатейший. Российский Клондайк. И вянет, пропадает. Это же ненормально...

За окном автобуса очередная деревушка. Издалека вроде бы ничего из себя. Домики стоят на горюшке в курчавых корабельных соснах, речка блестит, пашни на солнышке греются. Но подъезжаем поближе, и становится видно, что все

в этой деревушке опять набекрень – от изб до заборов и калиток. Запустение. И большинство огородов вскопаны наполовину, хотя на дворе давно июнь. Но живут люди, в окнах зановески. И я понимаю, не потому земля у них «гуляет», что они лентяи – нет. просто сил, видимо, на все не хватает. Это старые люди. Некоторые говорят: да спились там все. Я не видел таких. Не видел ни пьяниц, ни побирушек ни на одной из наших стоянок. Пацаны, молодежь тоже почти не встречались. Старики там немощные в большинстве. А кто помоложе, ищут свои «клондайки» в других местах. Потому и налаживать жизнь, и рожать там некому.

Автобус бежал себе по таежной дороге, в салоне для пассажиров крутили по видуку нескончаемый шумный боевик, я глядел по сторонам на встречные города, поселки, и все они располагали к тому только, чтобы помолиться. Господи. Научи, как спасти эту землю... Говорят уже, пишут, потерять Сибирь – потерять Россию. И то, что реально существует такая опасность тоже никакая не тайна. Что же, так и будем плыть по течению к этой потере, которая может обернуться всероссийской катастрофой?

С другой стороны, может быть, я рассуждаю, как человек пристрастный. И предпочитаю слушать единомышленников. А есть и другие соображения по поводу современного освоения Сибири. Одно из них таково. Устраивать там по-еврейски приличный быт, развивать по тем же меркам деловую жизнь – слишком накладно и нерентабельно. «Не в коня

корм», как говорят в той же Сибири. Слишком суров климат. Слишком удалена территория от общепринятых, как говорится, «центров цивилизации». Потому во все времена сибирские аборигены, как бы у них хорошо дома ни складывались дела, все равно стремились в эти центры, в Европу прежде всего. По этой причине край и малолюден. Таким был всегда. И никакими срочными и великими капиталовложениями ситуацию резко не изменить. В советские времена пытались. Но тогда деньги особо не считали. А великие стройки до сих пор себя не окупили. И как только в начале девяностых годов стало попроще с паспортным режимом, предприимчивые сибиряки поспешили в европейскую Россию. За что осуждать их нельзя – возможностей там больше. Значит, чтобы остановить процесс, надо их поднять в Сибири до той же планки. А это – время. Из чего следует, до поры осваивать необъятные сибирские просторы лучше всего вахтовым методом. А самим сибирякам даже помогать переселяться в Европу. Сибирские же проекты тщательно просчитывать на окупаемость с учетом прогнозов миграции. Эта точка зрения сложилась как бы в пику советскому опыту развития края. Но она тоже небезупречна. Ее оппоненты уверены, что этак можно вообще сдать российскую территорию каким-нибудь китайским супостатам, которые уже и так на нее имеют виды. И даже тихо заселяют. Свято место пусто не бывает.

Угроза нешуточная. А дело стоит. Много-много лет. И

Горбачев в Иркутск приезжал, и Ельцин недалеко от Иркутска был, и Путин катался с гор и повторял, какое красное здесь место. А на Байкале вообще кто только не был. Сибирь, кроме прочего, это еще непочатая страна туризма. Вообще она разная. Есть и суровые районы. Но она ими и хороша. Не просто не разделяю мнения тех, кто считает, что на непригодна для нормального жития, удивляюсь, как такое вообще могло кому-то прийти в голову. За всю Сибирь не скажу, но места, о которых у нас речь, прекрасны. И так считают не только сибиряки. Привычные к влажной, более теплой погоде петербуржцы, прочие европейцы того же мнения. Многие об этом говорили, побывав здесь. Климат тут вполне здоровый, сухой, континентальный – жаркое лето, холодная зима. А какая золота очень, какая яркая весна! В Петербурге, который очень люблю, я, как бы постоянно под крышей, даже когда на улице. Это потому, что с детства привык к сибирским просторам. Здесь у нас высокое, изумительной голубизны небо, горы, которые здесь называются сопки, – это горы поросшие, лесом. А горы – скалистые, вроде Саянских, которые так и зовутся – горы. Почему-то так принято: если скалы – это горы, а если, независимо от высоты на горе, лес – это сопки. Качинская сопка, например, почти 1000 метров, а горой ее никто не называет. На ней даже озеро есть. Сопки поменьше называются «полстопочки», «полстопочки»...

И все это вот оно – за окном автобуса, вроде бы никуда не делось, благодатный край во всей своей красе. Надежный,

как сибирская изба. И я еду с ожиданием необычной встречи – вот-вот увижу места, где родился. Но эту несправедливость, что является перед глазами, как только подъезжаем к понурым деревенькам и городам, мне видеть не хочется. А хочется немедля все поправить, вернуть хотя бы во времена моего детства. Оно хоть было послевоенное и вовсе не сахар была жизнь, но я помню, как мама год от года повторяла: «Ну вот, теперь полегче будет...». Обычно я слышал это от нее по весне. Каждую весну ждали, получали прибавки к жалованью, снижение цен на товары первой необходимости. В школе, кому не на что было купить ботинки, одежду, выдавали все бесплатно. Такое происходило каждый год, после чего мама повторяла те свои магические слова, и действительно – жить становилось легче. Сытнее, теплее. Вокруг все что-то строилось, восстанавливалось. А это же было первое послевоенное десятилетие. Что же сейчас-то стряслось, что стало хуже, чем после войны? Рынок виноват? Но ведь его затевали как раз для того, чтобы освободить частную инициативу, чтобы люди лучше работали и жили. Теперь не будем осваивать Сибирь по-старому – по советски, так давайте по-новому – по-рыночному. Технологи разная, но цель то, в общем, все та же, чтобы чья-то мама, здесь в Сибири, говорила: «Ну вот, теперь будет легче...»

Каждые примерно два часа наш автобус по причине отсутствия туалетов, полагающихся в машинах дальних рейсов, останавливался, водитель отпускал пассажиров минут на 20

«погулять». И я старался успеть за это время поговорить с местными. Запомнились бабушка в городе Тулун. Это старенький районный центр километров 300–350 от Иркутска. Подхожу к ветхому домику. Смотрю: завалинка у него есть – это такое сибирское приспособление, опоясывающее холод не проникал. поближе подошел, вижу: нижние доски на завалинке подгнили, отвалились. Плохо дело – дом без хозяина. Тут приоткрылась калитка, выглянула старушка:

– Вы кого-то ищете?

– Да нет, просто вот смотрю, как живете. А вы одна?

– Дед помер.

– А дети?

– Живут в Иркутске, приезжают редко.

– А здесь как?

– Да трудно...

Она сказала это просто, спокойно. Для нее это привычно. Свыклась. Есть огород, пенсию, говорит, слава богу, регулярно платят. На хлеб, сахар, соль хватает. Их коммунальных услуг только свет. Вода из колодца. Улица-то деревенская. А вот дальше, смотрю, трехэтажные дома городского типа. Спрашиваю:

– А вот там как народ поживает?

– Раньше неплохо. А сейчас работы нет. Кто смог, уехал. А здесь дома иной раз зимой и не топят. «Буржуйками» люди обходятся...

Я понял, обычная «фронтальная» обстановка. Вспомнил,

писала о том же сестра из Иркутской области: «Живем в пятиэтажных домах, но у нас не топят, поставили «буржуйку» и вывели за окно трубу». Прочитал тогда, подумал – авария у них там. А это, оказывается, рядовой сибирский случай, закрывается предприятие, а подопечные дома руководство забывает снять с баланса. И они становятся «ничьи», поэтому коммунальщики топить их тоже не обязаны.

Поехали дальше, и я уже почти никого ни о чем не спрашивал. Все и так видно. Все та же какая-то едва не демонстративная убогость. Везде и всюду. Не то к ней настолько привыкли, что уже и не замечают, уже забыли, какими должны быть современные поселения. Не то властям просто не на что выполнять свои обязанности, устраивать быт, как полагается по современным стандартам. А скорей всего, тут и то и другое.

В Усть-Илимске поговорил с молодым строителем. Владимиром. Когда-то трест, которым руководил его отец, был огромен и могуч. Сейчас об этом напоминает лишь необычных размеров административный корпус. Но сегодня подрядов мало, предприятие пережило не одно сокращение, отец уехал в Питер, а сын сторожит остатки треста. Старается продать опустевшее офисное здание, но покупателей нет. При этом, по его словам, весь строительный бюджет Усть-Илимского района (что чуть меньше по площади Франции) со всеми стройками, детскими садами, школами и прочими – 250 миллионов рублей. Для сравнения: мы сейчас заканчи-

ваем дом стоимостью 500 миллионов рублей. Строили его 2 года. То есть один наш дом – это 2 годовых бюджета по строительству и ремонту Усть – Илимского района. Что можно сделать на эти деньги? По словам Володи, поддерживаются мало-мальски детские сады, школы, детские лагеря. Все.

Уже после поездки узнал, что проблема Сибири довольно активно в последние месяцы обсуждается в стране. И это должно обнадежить. Да только, с другой стороны, очень уже давний и долгий разговор. И дальше слов дело не идет. Так можно окончательно «заговорить» проблему. Чем дальше, тем решать ее становится сложнее. Как бы не пришел срок, когда любой проект окажется неосуществимым. Предупреждение об этом содержится уже в самой информации о сегодняшнем состоянии края, ею оперируют участники дискуссий. Недавно подсчитано, говорят они, что в Иркутской области почти в 3 раза больше наркоманов, чем в среднем по России. В большинстве районов резко снижается рождаемость и растет смертность. Я тоже слышал об этом по дороге от местных. Один попутчик рассказал, что в Усть-Илимске, например, живет уже всего около 70 тысяч человек вместо недавних ста тысяч. То есть каждый год население здесь уменьшается на 5–8 тысяч. У оставшихся «индекс развития человеческого потенциала», как его фиксируют социологи, значительно ниже среднероссийского. Другими словами, Россия мельчает, вымирает Сибирью.

До этого места у авторов проектов сибирского будущего

особого спора нет. Он начинается с любимого вопроса российской интеллигенции «Что делать?». Наверное, правы те, кто утверждает, что советские методы освоения и развития Сибири, как и вся экономика, оказались слишком затратными, контрпродуктивными. Часто показушными. Один из финальных тех лет примеров – строительство БАМа, дороги в никуда. Экономический эффект многих великих строек не просчитывался с должным тщанием. Искать интересы, связи производств и отраслей, объединяющие их в устойчивый хозяйственный комплекс, – это было ник чему. В той экономике начальство пребывало в уверенности, что как оно скажет, так все и будет. Потому, конечно, когда появился какой-никакой, но рынок – назначенная схема рухнула, искусственные деловые связи распались. Многие градообразующие предприятия оказались без заказов и встали. И по Сибири эта напасть прошла особенно опустошительно. А безработные с тех пор и ищут счастья – прежде всего где поближе – в российской Европе. Сюда хоть и те же сложности пришли с рынком, но старая и сравнительно развита производственная структура, близость к Центру помогли поскорее и хотя бы частично поправить положение. А беженцев – только из Восточной Сибири – социологи насчитали в последние года полтора миллиона.

Я тоже считаю, повторять советский опыт наступательных, но бестолковых, не выдержавших испытаний рынком сибирских преобразований не надо. Но нельзя, по-моему,

ударяться в другую крайность – переселять сибиряков в обжитые районы, а здесь лишь наездами обслуживать производство, не заботясь о создании условий для постоянного проживания, как предлагают некоторые участники дебатов на эту тему. Богатство Сибири – это не только лес, газ, нефть, прочие природные сокровища, которых не счесть, это еще и огромное жизненное пространство. Оно главное, только с ним все остальное имеет значение. Потому на стороне тех, кто считает, что «главным инструментом освоения и заселения Сибири должна стать комплексна миграционная политика, подчиненная единой цели – привлечь людей, стремящихся заниматься своим делом и имеющим для этого необходимый профессиональный потенциал». Что означает – надо устраивать. А это значит создавать переселенцам хорошие условия для проявления частной инициативы, выдавать земельные участки, давать беспроцентные кредиты, освобождать от налогов. То есть развивать предпринимательство. В первую очередь самый массовый малый и средний бизнес. И люди поедут, чтобы выращивать и выгодно продавать, например, женьшень или создавать эколого – туристические парки, строить научно-производственные комплексы – тут места и самого разного дела на всех хватит. А для того, чтобы делалось оно лучше и жилось здесь не хуже, чем в Европе, те же мигранты и коренные сибиряки-предприниматели должны строить для других предпринимателей и рабочих, чиновного люда современные магистрали и также жилье, школы,

театры, институты, кафе и рестораны, обеспечивать их всеми услугами непременно, но лучшим мировым стандартам. И ничего нереального в этом нет. Нужно только давно уже от слов переходить к делу. Только...

Вообще это же своего рода трансформация идеи Столыпина. У него, правда, цель была узкой: на новых сибирских землях обратить российского крестьянина-общинника в собственника. Среди таких переселенцев многие родственники жены, ее мать и отец. Они из Ставрополя. Им, как и другим желающим обзавестись в дальних краях своим хозяйством, предлагались два варианта. Первый: на земле, которая будет отведена, организовать хутор: если не получится, участок можно будет продать. Другой вариант: даются государственные деньги на строительство и на обустройство, дом возвел, долг снимается. А если этого не сделал – деньги обратно. Чем и завлекали, молодых особенно. Земли сколько хочешь. Бери, что надо. Еще, кроме ссуды, давали 2 коня, 2 плуга, корову. Суть нынешних сибирских проектов (это из тех, которые считаю подходящими), как я их понял, такая же. Только они гораздо шире. Ну и флаг им в руки. Они проверены. За чем дело стало?

До конечной цели моего маршрута оставались последние десятки километров. За окном по-прежнему красавица – природа, как могла скрывала, скрашивала унылые безобразия человеческого жилья. Я вспомнил Испанию, Канарские острова. Сравнил. Что нам Канары! Вот чуть подправить

пейзаж для начала хотя бы за счет строительства нормального человеческого жилья...

Прочитал написанное жене.

С Ниночкой мы вместе уже почти сорок пять лет. Мне очень повезло, что живу вместе с ней. За все эти быстро пролетевшие годы мы не разу серьезно не ссорились. Я всегда, смотря на нее, люблюсь ее красотой.

И раньше и сейчас разлука с ней трудна, я не нахожу места, становлюсь раздражительным, беспокойным, пока ее нет рядом.

Все, что сделано мною, это благодаря ей. Свои поступки я измеряю ее оценкой. Думаю, что встреча с ней была решена на небесах. Моя мама – верующий человек, после смерти за свои земные страдания попала в рай и там попросила Бога помочь ее сыну встретить Нину. Наверное, это мои придумки, но я верю им.

Прочитал, спросил:

– Ну как? – надеясь на одобрение или какие-то поправки. Но услышал неожиданное для себя.

– Миша, а сам ты не задавал себе вопрос, почему уехал, а не остался помочь родным местам, и такой ли уже это богатейший край, что там есть, кроме леса? Не красуешься ли ты перед собой и другими, говоря о проблемах Сибири? Вправе ли это делать?

Задумался. Действительно, писал обо всем, имея свой жизненный опыт, помня о чем-то, иногда запомнилось услышан-

ное, давно прочитанное.

Оставил в сторону рукопись, выкраивая часы, читая специальную литературу. Уже сейчас могу точно сказать всем. Да, богатейший край, конечно основное богатство – это лес, но кроме этого золото, железная руда, каменный уголь, серебро, свинец и много материалов, так нужных для строительства. А энергия Ангары? А земля? Наиболее хлебородный центр – это запад и юго-запад Иркутской области, что не граничит с Красноярским краем. Почва здесь жирная и не требует удобрения. Уехал почему? Наверное, по тем же причинам и сейчас уезжают молодые люди. Нет условий для жизни нормальной. И тогда их не было, об этом и пишу. Уехал и тоскую, всю жизнь родина зовет. Сейчас стар возвращаться, да и не вернусь, слишком много корней уже здесь, в Санкт-Петербурге. Корни – это в первую очередь мои внуки. Так хочется им счастья, поменьше тех бед, которые были у меня. Хочется увидеть Павлика, младшего внука, студентом. Много не реализовано своих планов, недостроены дома в центре Кировского района, не написана книга воспоминаний о друзьях, которые ушли из жизни. Но малая, а лучше сказать самая большая по любви мо Родина зовет, и я еду к ней навстречу.

Кеуль

Все, 700 таежных километров позади. Конец автобусного

маршрута. Еще сорок и где-то там на кручах Ангары, в местах ее встречи с быстрой речкой Кеулькой, опустевшая деревенька, где я жил-был первые свои семь месяцев в отчем доме. Но пока перед нами широкие проспекты города-легенды комсомольских строек, некоронованной столицы новой Сибири, мы – в Усть-Илимске.

Синь Ангары и Усть-Илимского водохранилища, белизна плотины ГЭС, густая таежная зелень окрест и на улицах. В отличие от увиденного в дороге, здесь, на первый взгляд, порядок и чистота. (Правда, нового строительства тоже не видно). Проектировали город питерские архитекторы, которые и привнесли в его облик некое размашистое изящество петербургских лучей-магистралей. А кроме того, постарались создавать современные удобства. Микрорайоны разделили на зоны: жилую, учебную, лечебную. Промышленно-коммунальную зону и основные магистральные дороги вынесли за город. Потому горожанин здесь не видит дымящих труб. Всюду чистый, наполненный хвойным ароматом воздух. Жилые кварталы в окружении специально сохраненных строителями кедров и лиственниц. Население в последнее время убывает, еще в 1993 году город насчитывал 113,3 тысячи жителей. Здесь крупнейшие по европейским меркам гидроэлектростанция и лесопромышленный комплекс, развитая социальная инфраструктура, многопрофильный курорт «Русь», неплохо, по заявлениям властей, развит во всех отраслях малый бизнес, достаточно школ и

детских садов, имеется также две школы искусств, 7 филиалов высших учебных заведений, картинная галерея, краеведческий музей, Театр драмы и комедии, Дворец культуры, библиотеки, спортивные базы. Хороший город. Держит марку. Но и он в опасности. И ему, как оказалось, грозит участь тех бедолаг, что встречал по дороге. Об этом узнал сразу по приезде от встречавших меня местных знакомых. А позже, уже дома в Петербурге, нашел в интернете информацию, из которой следует, что угроза не только не шуточная, события по этому поводу быстро развиваются.

«27 июня 2007 года в городе Усть-Илимске состоялись общественные слушания по материалам «Социальной и экологической оценки строительства Богучанской ГЭС мощностью 3000 МВт», и жители города высказали свое отношение к этому строительству. А последствия его таковы, что если этот план станет реальностью, часть города Усть-Илимска ниже половины Усть-Илимской ГЭС будет затоплена, и ни одного метра естественного русла реки Ангары не останется.

По квалификации Европейского банка реконструкции и развития этот проект относится к категориям А. то есть она с самым высоким социальным и экологическими рисками, к которым банк предъявляет наиболее строгие требования. И на слушаниях не нашлось ни одного жителя Усть-Илимска, который поддержал бы этот проект. Зато накануне все руководство города (мэр, председатель городской ду-

мы) высказалось «за». Из всего депутатского корпуса только двое последовательно защищают интересы горожан. Один из них – О. Кочановский, председатель общественного комитета «Ангара 185», принес на слушания 11 500 подписей (это 25 процентов от жителей города, обладающих избирательным правом против строительства).

Богучанская ГЭС потребовалась реорганизованному алюминиевому монополисту «РУСАЛ» для строительства в Красноярском крае очередного завода по производству экспортного полуфабриката. Достаивать гидростанцию предполагается по планам еще советского периода, без пересчета на сложившиеся сегодня условия и расценки, без учета климатических и ресурсных изменений. Более того, требования, предъявленные надзирающими госслужбами при предыдущей попытке реанимации заброшенного проекта в 2000 году, не выполнены. Самое же главное – проектная отметка подпорного уровня в 185 метров, худо-бедно позволяющая Ангаре сохранять способность к самоочистке, из соображений увеличения количества электроэнергии будущей электростанции вдвое, превращается в 208-метровую отметку. Это ведет к превращению водохранилища в резервуар по хранению сточных вод от целлюлозно-бумажного комбината, затоплению не только части города, но и 30 тысяч гектаров нахотных земель, примерно 2 миллионов кубометров тонкомерного леса, переселению части горожан, а также как минимум двух поселков с созданием с нуля всей инфра-

структуры (один из поселков на памяти его жителей переселяется уже второй раз)...»

Прочитав это, я понял: можно сказать, что помудрившие комсомольские романтики, давно ставшие своими в этом го-роде, дети и внуки первопроходцев освоения Сибири 60–70-х годов прошлого века, уже против того, чтобы строить «светлое будущее» любыми средствами. Чтобы одно стро-ить, друге разрушать. Чтобы превращать благодатный край в примитивный сырьевой источник безжизненных просто-ров. А тогда кому, зачем это надо? Если большой бизнес ищет максимальную выгоду, ему выгодно, когда вокруг нор-мально организованная, с хорошим потенциалом развития деловая среда, когда вместе с ней постоянно растут запро-сы и возможности потребителей. Но это по большому сче-ту. Не для временщиков, которым «после нас хоть потоп». А тогда сам собой возникает вопрос, что значат гидроэнерге-тические нововведения на строительстве Богучанской ГЭС, которые этот «потоп» прямо планируют?

Сколько трагедий, маленьких людских, принесла Усть-Илимская ГЭС, вернее водохранилище, образованное от него. Десятки деревень под водой, в том числе и деревня мо-его детства – Погодаева. Нет этих милых сердцу мест. Ну по-чему мы так упорно повторяем ошибки? Не надо все мерить по принципу – это принесет мало бед, а это много бед. Если приносит беды – это не должно приниматься.

Неужели каждое такое дело нужно доводить до Прези-

дента, как было с нефтепроводом, намеченным к прокладке на Дальний Восток. Стоило Владимиру Владимировичу указать, что слишком близко проходит труба к «священному Байкалу», как все согласились, да, промашка вышла. А когда до этого специалисты о «промашке» твердили, никто не слышал? Слышали, конечно. Да что с того? «Васька слушает, да ест». Пока президент, или другой большой начальник слово не скажет, можно и не замечать. А если не скажет? Но все равно – молчать нельзя. У тех, кому позарез нужно закончить проект Богучанской ГЭС, наверное, есть свои доводы на сей счет, но для людей, которым здесь дорог каждый гектар земли, каждое дерево и еще многое, что дороже всяких денег, доказательства своей правоты имеются тоже. И, по-моему, так последние как раз гораздо весомей.

В Усть-Илимске нас встречал Владимир Александрович Николаев – сын петербургского сотоварища по строительному делу Александра Николаевича, с которым мы познакомились совершенно случайно. Дело было в землячестве. Мир тесен. Вдруг оказалось, что предо мной не просто сибирский земляк, а именно тот, который не где-нибудь, а в новом, перебазируванном из зоны затопления Кеуле построил школу, детский сад, сельсовет. Сейчас, рассказал он, это большое село, в одно место свезли несколько деревень. А узнав, что я собираюсь в поездку на малую Родину, предложил мне помощь сына. И вот младший Николаенков провожает меня в гостиницу, рассказывает о жизни и тревогах нынеш-

него Усть-Илимска, а они плавно приводят меня к мыслям о предстоящей встрече со странно раздвоившимся «местом рождения». Кеуля теперь два – старый и новый. Старый пока не под водой. И на том спасибо.

Эту деревеньку между тем упоминают почти все историки освоения Сибири. Готовясь к поездке, я много прочел об Иркутске, Байкале, Ангаре, Илеме. Открыл для себя Леонида Шинкарева, Георгия Замаратского, Анатолия Карнахуова, Анатолия Бубнова, Александра Вампилова, замечательных исследователей, литераторов, написавших о нашем крае. Понял, что для этих людей Сибирь и моя Родина – близки. Многие их мысли были, собственно, и моими тоже. Много о родных местах узнал от них заново. Я, сибиряк, никогда не задумывался, например, даже над тем, почему у нас лес называют тайгой. И вот оказывается, слово «тайга» с бурятского буквально переводится как дремучий горный лес. Огромные пространства тайги действительно гористы, но даже на равнине леса, пусть самые малые, сибиряки зовут этим, как нам кажется, суровым словом – тайга. А здесь она почти синоним слову дом. Потому что кормит, поит и одевает людей. Извечная близость к ней, как в Сибири говорят, «мягчает дугу». С древних времен тайга окружала первожителей, они охотились и рыбачили, собирали дары природы, кочевали с места на место, взявшись за топоры, устраивали здесь пашни. Древний лес – тайга – это была колыбель северной части человечества.

Как правило, деревни назывались именами первых русских землепашцев, прибывавших сюда, чтобы поставить избы и распахать землю. Но из каждого правила есть исключения. Кеуль получила свое название от реки Кеулька (вот кто так называл речку, не удалось узнать). В истории сохранилась дата образования Кеуля. Не у каждого города в европейской части России это есть. А тут практически известен месяц. Город Илимск уже стоял, правил им воевода. Размеры воеводства были такими, что много углов было неизвестных, а проще говоря – медвежьих, но забота об освоении государевых земель всегда была обязанностью представителей власти. И вот весной 1687 года воевода Илимского уезда Федор Павлов дал указание приказчику Григорию Дьякову подобрать из числа смелых и сильных крестьян шесть семей. Как только пройдет лед по Ангаре и Илимю, направиться на лодках вниз по течению, чтобы поставить на устьях впадающих в Ангару речек Бадарма, Невонка, Тушама, Кеулька первые избы будущих деревень. Основателями их стали молодые семьи, захотевшие жить вольно, независимо, вдали от воеводского надзора. Начало деревень Кеуль положил Михаил Беловодов с женой. Это был самый молодой из переселенцев. Ему тогда только стукнуло двадцать два года. Но, сообщают историки, он запомнился современниками как мужик крупный, сильный, смелый и сообразительный.

Мне трудно сегодня представить, что мой внук Коля, которому осенью будет двадцать один год, сможет повторить

дело своего сверстника. Жили они словно на необитаемом острове, свободного от угроз власти. Да только это была свобода каторжного труда. Не помещиков, земли, сколько сможешь «позаимствовать» у тайги. Но земледелие опытное и все внове. В этих условиях, чтобы выжить, надо было стать настоящим грамотным крестьянином, а главное – иметь великую тягу к лучшему чувству жизни. И счастье – их и наше, что она была у наших предков.

Только утвердились, чуть-чуть окрепли деревни, как по инициативе Петра Первого в 1725 году отправилась через Сибирь к Тихому океану первая Камчатская экспедиция во главе с Витусом Берингом. Два года пробирался отряд по сибирским землям, по рекам и тайге, и ему обязано помогать местное население. Экспедиция шла от Ангары до устья Илима, потом по реке Илиму, а после лодки волоком тащили на Лену – в район нынешнего Усть-Кута.

По дороге государевы путешественники требовали обеспечивать их всем необходимым и собирали по деревням пеньку, смолу, канаты, муку, крупу, отрывали от хозяйства сотни подвод и лошадей, чтобы перевезти грузы. При этом не случалось протестов, все выполнялось с доброго согласия. Высоких материй не знали, а на Россию работали.

В 1733 году В. Беринг возглавил вторую Камчатскую экспедицию. И снова все повторилось. Больше того, теперь молодые крестьяне в одной компании с угрюмыми каторжанами гребли и тащили бечевой баржи да лодки, калеча ноги

среди прибрежных камней. По деревням созывали плотников строить экспедиционные воеводства (куда входила и деревня Кеуль). На протяжении десяти лет, как отмечают историки, Илимск являлся основной базой Камчатской экспедиции, а илимские и ангарские пашенные крестьяне невольными участниками и главной ее силой. И я вправе гордиться, что моя деревня Кеуль, мои предки внесли свою лепту в освоение Сибири, Дальнего Востока, Камчатки, Сахалина, своим трудом помогали обживать необъятные пространства и делать Россию страной великих северных территорий.

В Кеуле строились дома, рожались дети. Многие избы, кстати сказать, были из лиственницы. А это особое дерево. Рубили лиственницу обязательно зимой, когда древесина сохраняет все свои соки. Это даже не дерево – железо: не гнется, а в сырости становится еще крепче. Избы из нее стояли по 300 лет. Лиственницу не каждый топор возьмет. Мало сохранилось таких изб, но они есть. Слава Богу, не утопили, не сожгли, очищая пространство для водохранилища.

Но самое ценное дерево в Сибири – кедр. Корчуя тайгу, его обходили стороной. Это – «хлебное дерево». Больше половины доходов крестьянской семье приноси в старину кедровый орех. Почти восемьдесят процентов в его ядрышке – чистое масло, и такое питательное и вкусное, что может сравниться со знаменитым прованским или миндальным.

Из кедрового дерева издавна рубили крепкие сундуки и лари, где хранили дорогую одежду, чтобы нетронутосвежей

(благодаря особым свойствам кедра) осталась бы внукам и правнукам. Кедр и сибирская сосна – это чудо тайги. Каждую осень он зовет к себе, звеня и постукивая спелыми смоляными шишками, вобравшими в себя все витамины леса.

В 1784 году на средства крестьянина Е. Карнаухова (так и не смог узнать, был ли он родственником по матери, носившей в девичестве такую же фамилию) построили в Кеуле деревянную церковь во славу Ильи-пророка. Рядом с ней, сообразно древнерусским традициям, поставили деревянную колокольню. В 1845 году она сгорела, на ее месте возвели новый храм. На церковные праздники, на венчание сюда приезжали из деревень Тушама, Ката, Едарма. (В одной из них – в Тушаме родилась моя мама. А крещена была в Кеуле). До революции в Кеуле имелось сорок дворов и проживали триста человек. Когда я родился, храм еще стоял, как рассказывала мне сестра Людмила, или Мила, как мы ее звали.

Сколько себя помню, она рядом всегда была. Мы жили вчетвером: мама, сестра Капитолина, Мила и я. Капа была старше меня на девять лет, поэтому тяготы по уходу за мной были на Миле. Мое воспитание – ее работа. Думаю, что нелегка. Был я мальчиком непослушным и непокорным, а если обижали, жаловался маме, зная, что здесь получу полную защиту.

Мила меня научила читать. (Это было великое дело, особенно если учесть, что в те времена телевизоров не было. И даже электрического света в деревне – до 1960 года. Жили с

керосиновой лампой, а то и зажигали лучиву). Мила читала мне сказки, рассказы. И меня научила декламировать стихи с чувством и выражением. Мы с ней ходили в лес за ягодами и грибами. Я с ее помощью наловчился доить корову. Правда дальше первых опытов дело не пошло.

Капа вышла замуж. Когда мне было десять лет, а Мила оставалась рядом, следила за моим поведением. И когда надо, наводила «порядок». За год до маминой смерти она тоже вышла замуж, и мы с мамой год жили одни. После ее смерти, как ни трудно было Миле (муж – студент, у самой не было постоянной работы, маленький ребенок – Мариночка), она всегда помогала мне материально, а главное, так у нее получалось, что не давала мне впутываться в плохие кампании. Когда учился в техникуме, общался в основном с Милой, хотя переписывался и с Капой. С братом как-то сразу не сложилось. И я приезжал к Миле на каникулы в Илимск, даже работал в леспромхозе. К началу учебного года она справляла мне обновки. Заботилась обо мне всегда. И сейчас я уже взрослый, если не сказать старый, и разница у нас в шесть лет, но если звонит Мила, я слышу: «Миша, сынок, как ты чувствуешь себя?». Как только собрался и поехал в Кеуль, Милочка сразу дала согласие: «Конечно, поеду, о чем разговор». Понимал, что отвлекаю ее от дел, и тем более благодарен ей за помощь...

Как-то получил письмо от двоюродного брата Ивана Савельевича Карнаухова. Живет он в Хабаровске, писал о нашем

деде Савелии Федоровиче Карнаухове, который дожил до 96 лет и погиб по нелепой случайности. Иван хорошо помнит его рассказы о деревнях Кеуль и Тушамы. Дед был колоритной фигурой, со смоляными черными волосами, зычным голосом, от звука которого стекла в окнах лопались. Охотником родовому приданию, дед Савелий особо был знаменит тем, что заломил пятьдесят медведей. Помнится, я от одного увиденного память потерял от страха, а здесь пятьдесят, и каждый раз, возвращаясь с охотничьим трофеем, он угощал деревенских. На то было две причины. Первая – помощь тем, кто не мог охотиться. Вторая – чтобы властям не сообщали, тогда всю или почти всю добычу придется сдавать государству. Дед имел два Георгиевских креста за ратное дело. Он тоже венчался с бабушкой в Кеульской церкви. И от этого брака пошли дети: Анна – моя мама, Трофим, Мария, Иннокентий, Иван. Что-то помню о них с детства, что-то узнал перед поездкой, а с двоюродными сестрами – Машей и Кирой – детьми дяди Трофима – встретился в Усть-Илимске.

Мне повезло. Оказалось, что в новом Кеуле есть музей. По столичным меркам это, конечно, небольшой краеведческий уголок при библиотеке. Но здесь для всех это музей, вполне отвечающий названию. Потому что сравнивать не с чем. Других музеев нет. Вообще во многих сибирских небольших городках практикуется такое. Люди чтут историю своих мест. И вот, узнав об этом, перед поездкой я написал работникам Кеульского музея-библиотеки письмо, отправил свою

книжку «Я родом с Илима».

Пришел ответ: «Получили посылочку с Вашим письмом и книгами и очень обрадовались, сразу нашлось у всех, что вспомнить». Любовь Ивановна училась в Нижне-Илимской школе, ее отец был учителем. Татьяна Григорьевна жила в Тушаме и очень хорошо помнит Вашего дядю Трофима Савельевича, забавные случаи из детства. Готовы поделиться всем, что знаем и помним. Сегодня увезли Ваше письмо в Усть-Илимск. Там у вас тоже родственники...»

После этого я скоро смог убедиться, что родственников много. Позвонил двоюродный брат Иннокентий, сын Трофима Савельевича, моего дяди. Мы ровесники.

Никогда не виделись, но вот по телефону – встретились. Иннокентий сообщил, что прочитал мою книгу с интересом. Работники музея и библиотеки подивились сохранившемуся у меня чувству юмора. Пообещали сделать осенью презентацию книги, познакомить с ней родную деревню. Поругали «потопное» переселение. Рассказали, что новый Кеуль жил неплохо первое десятилетие. На совхозной ферме ходили в белых халатах и в тапочках. Приезжали партнеры – специалисты из Голландии и других стран. А сейчас все разрушено. Поля не сеют, фермы разобрали. Держится Кеуль только культурой. Особо отметили: «Песни у нас поют замечательные!». В Троицу, Масленицу, во все народные праздники выступает хор, фольклорная группа от бабушек до школьников. В поселке очень хорошая школа, в этом году получила

«президентский миллион» (то есть гранд). А в старом Келуле сообщили, сохранилось всего два дома, которые еще не снесли.

Потому получил письмо от Любови Ивановны Чугаиновой: «Мне было шесть с половиной лет, а брату восемь, когда мы приехали в Нижне-Илимск, это как раз после демобилизации папы. Работать он пошел в Нижне-Илимскую среднюю школу учителем военного дела и физкультуры. Позже стал учителем труда по столярному и слесарному делу. Возможно, вы его помните... Я с 1949 года, помладше вас, а брат мой с 1947-го; значит, мы учились в одно время с вами. Носились по одному и тому же коридору в школе и учили нас одни и те же учителя...»

Письма шли и шли. Генеалогическое мое древо разрасталось, сибирских родственников и друзей находилось все больше. Перед поездкой узнал, что вышла книга «О чем шумит Ангара» Анатолий Карнаухова. А вдруг родственник по матери? Он живет в Саратове, мы списались. Нет, оказывается. Хотя, в общем, Карнауховы все родственники. Фамилия произошла, как написал мне автор книги, от прозвища «коровое ухо». А карнавое – значит отрубленное. Было такое в старину наказание за разные провинности. Лишались уха и в драке, в праведном бою. Наши же Карнауховы, по одной из версий, от болгар и тунгусов, создавших первую такую семью. Брат Анатолия Карнаухова написал, что знал старшего сына Савелия Федоровича Карнаухова Трофима Саве-

льевича, моего дядю. Это, по его словам, был высокий, подтянутый, никогда не унывающий весельчак, брюнет. Красивое интеллигентное лицо, синие глаза, темные брови, усы. Похож на киношного Григория Мелехова. Не очень богатым был, но любил принимать гостей. Мог дать займы денег на водку и сказать просящему: «Долг мне можешь не возвращать, только не ходи с протянутой рукой. Не по позорь себя». Когда бывал в Невоне, всегда заходил к Карнауховым – однофамильцам. А началась война – ушел на фронт. Был ранен в голову и ноги, демобилизован. Заслужил Орден Славы, другие ордена и медали.

Вот это и еще многое о своей сибирской родословной я уже знал, когда в гостинице в Усть-Илимске рано утром подъехал Владимир Александрович Николаенков, наш добрый гид и помощник, мы сели в машину и отправились в Кеуль. Для начала в новый. Там теперь жизнь.

Час езды. Кругом тайга. Дорога хороша, сухо. Я еду не один – с представителями нескольких поколений: это дочь Анна – в этом году ей будет сорок лет – примерно столько же, сколько было моей маме, когда она покинула Кеуль. У нас много общего, иногда даже мысли совпадают. Я благодарен ей за эту поездку, уверен, без нее она бы не состоялась. Рядом сестра Людмила со своей внучкой Машей, взрослой уже девушкой – она учится в институте, ей здесь все интересно, как любому человеку в новых местах.

Вдруг из-за поворота мостик и табличка на перекладине –

«р. Кеулька». сердце екнуло, где-то рядом моя деревня. Из-за перелеска показались поля (незасеянные, отметил про себя). Вот вдали – темные крыши, приземистые дома, бело-синим пятном школа, детсад, муниципальный Совет. Вот он – Кеуль. Правда, это пока двойник – новое издание моего старого села, но все же... Волнуюсь, даже руку приложить пришлось к сердцу. Пульс частит. Ищем дом Любовь Ивановны. Время не самое лучшее для гостей – полевая пора, но все как положено: приглашены в дом, предложен чай. Только как-то не до этого. Тороплю в дорогу и Альберт – муж Любовь Ивановны – заводит мотоцикл с коляской. Сажусь с ним, и мы едем в старый Кеуль, в настоящую деревню, где я родился. Стоит – пустынная, заброшенная. Даже не деревня, а обрывки, кусочки прежней жизни, счастливой и грустной, где-то сохранился огород, видны контуры улицы, сломанный забор... И Ангара – синя и широкая. Таежная кайма по дальним – через реку – берегам. Спрашиваю сестру Людмилу: «Где дом наш стоял?». Она должна помнить, постарше меня была, когда с матерью уезжали отсюда. Мила ходила к берегу, останавливалась, снова возвращалась, что-то спрашивала у Альберта и наконец объявила: «Вот примерно тут... Вот тут был наш дом...». Огляделся вокруг, большие камни по углам, полусгнивший венец из лиственничных бревен – вот и все, что осталось от некогда большого дома, похожего на крепость (со слов сестры). Моего отчего дома. Здравствуй, дом родной. Как стремился сюда, сколько дум пере-

думал, как боялся, что не увижу этих мест. успел, увидел, стою и не могу наглядеться. Далеко внизу под обрывистом угором плещется прозрачная ангарская вода, даже отсюда, с высоты видны песчинки. Дом стоял конами на реку и смотрел на таежные сопки на том берегу. Я родился в апреле, когда сибирская весна только начинается. А в июне-июле мать со мной на руках конечно же выходила во двор, сюда на берег. Потому мне и показалось сразу, что я это все, что сейчас передо мной, уже видел. Действительно же видел, только очень и очень давно. И вот вернулся... Мне седьмой десяток, я давно пережил всех своих родителей. Стою на земле, где зачали меня. Спасибо вам, сохранили и произвели меня на свет. Спасибо вам, мои родные, за жизнь, подаренную мне. Пример мамы, ее служению жизни (не стране, народу, как говорится – жизни), во мне навсегда. Вот из этого таежного уголка улетел я как песчинка, сейчас вернулся известным строителем России. Под моим началом построено сколько? К шестидесятилетию считали – большой город.

Прошлись по нашей улочке – теперь пустой. Вдруг оказался вполне исправный дом. Альберт пояснил: «Хозяин не позволяет его разбирать, хотя сам там уже не живет. Пусть, говорит, его затопит, но ломать не дам». Вышли к кладбищу. Здесь похоронен отец. Кустики, березки, черемуха, никаких надгробий, крестов. Здесь тоже как бы свое переселение. Вместо могил едва заметные бугорки. Под каким-то из них – отец. Мы привезли с собой цветы, и я их положил на

один из бугорков. Поклонился, попросил прощения, что не поспел, не приехал вовремя, не перевез косточки в достойное место.

Все, что касается отца, всегда было покрыто пеленой тайны. В детстве мать мне говорила: «Папа умер твой, и мы уехали в Нижне-Илимск». Совершенно случайно и совсем недавно узнал правду – как все было на самом деле. Мать с отцом поженились в мае 1941 года. А в июне война. Отец – вдовец, у него уже были дети. Его забрали на фронт и мать осталась с десятью ребятишками его и двумя своими – Милой и Капой. А в 1944-м он израненный пришел. В 1946-м родился я. А потом, как рассказывали мне, он имел неосторожность изменить матери. И она его не простила. Потому, видно, что любила очень. Ушла. Отец умер через четыре месяца после нашего отъезда. Что произошло? Фронтовые раны, а может быть, уход жены стал для него смертельной раной...

Пришли к речке Кеульке. Быстра – журчит – бежит к Ангаре. Такая же чистая, как во времена первых переселенцев. Постояли, умылись ее водой. Вот и все. Встретился, выходит, с местами, где родился. Им тоже, скорее всего, предстоит захоронение, только водное. Но я их видел. Они живыми останутся в памяти. Затем и ехал. Почему-то мне это было очень надо...

Стою один: видимо, все поняли мое состояние, даже Аня, посмотрев на меня внимательно, отошла. А я не мо-

гу наглядеться, вернее пытаюсь все, что вокруг меня, вместить в себя, ничего не упустить, а главное запомнить. Еще раз: быстрая Ангара и темные берега от леса на другой стороне, старые сгнившие изгороди, свежевспаханные огороды, журчание речки Кеульки. Трудно поверить – я на родине. Я волнуюсь, доченька беспокоится за меня, берет мои руки в свои, совсем крошечные, гладит. Удивительно, но это успокаивает, я еще долго стою на берегу.

И снова отправились в живую деревню Кеуль – в новый Кеуль, как здесь его называют. Нас там ждали. Пригласили в музей. Это, оказалось, как побывать в детстве. Многие музейные экспонаты для меня в те годы были обычными, бытовыми вещами. Сейчас мало кто знает, что такое туясок. А это бидончик из бересты, в котором хранилось молоко, сметана, масло. Ничего не протекало. Так мастерски было сделано. Сейчас все уже забыто. И вот наши кеульские музейщики ходят по старым деревням, плавают по Ангаре и собирают разные старые вещицы – в том числе и эти туяски. Не декоративные – настоящие. А еще – «зыбьки». Давным-давно они имелись во всех деревнях. Так в Сибири называют люльки. В доме большая комната – «горница» или «зала», там привязывалась зыбька, и ребенка в ней качали. Много такого я увидел в этом музее. А потом и стенд с собственной книжкой и материалы презентации.

В музее много материалов о земляках, ем-то заметно себя проявивших, и вот теперь я тоже в их числе. Музей, библио-

тека – это единственный культурный центр, где люди собираются, пойти больше некуда. Кинотеатра нет, он нынче не нужен, у всех телевизоры. А танцы – в школе.

Эти женщины сэкономили на всем и порой заставляли мужей – Альберт в этом признался – ремонтировать добытые старенькие экспонаты, чтобы создавать этот удивительный мир истории. И теперь они – уважаемые и дорогие – заведующая библиотекой Квакина Надежда Альбертовна, библиотечкарь Чугаинова Любовь Ивановна и добрый ее помощник во всем, муж и отец их детей Альберт Афанасьевич Чугаинов, экскурсовод Бельчикова Людмила Викторовна, и старший товарищ Юрченко Татьяна Григорьевна – стараются, чтобы не затух тот небольшой уголок, который называется историей жизни нашего села как частицы Сибири. Не специалист краеведческого дела, но то, что увидел в Кеуле, меня поразило. Создать и поддерживать такой музей могут только добрые, увлеченные, интеллигентные люди.

В старом Кеуле на улице Богучанской живет моя двоюродная сестра Дарья Трофимова. Я ее вижу в первый раз, ей семьдесят пять. Морщинистое лицо, натруженные руки, с Милой они знакомы. Удивительно, но «карнауховская» порода видна. Тонкие черты лица, голубые глаза, добрый взгляд. Жилистое сухое тело – мне мама запомнилась такой. Сидим, разговариваем о жизни, о здоровье, детях, внуках, кто где живет, кто кому помогает. Рассматриваем фотографии. Я пытаюсь найти маму, но ее на фото нет, сестра успо-

каивает меня: «Вот посмотри на нашу сестру Валу, она копия Анны – твоя мама. Такая же красивая. Мы всегда любовались твоей матерью, часто говорили – с нее был иконы писать, лик Пресвятой Богородицыю наверно, где было так говорить, не знаю». Потом баба Дарья, как стали звать ее почти сразу, моя дочь Анна и внучка Маша достали письма президента, которые он пишет участникам войны, труженикам тыла, (а Дарья Трофимовна девчонкой работала для фронта), приветствует их с праздником Победы. «Вот Миша, сколько отработала для государства и для фронта, нигде ни за кем не закрывалась, а пенсия такая, что если бы не огород, давно бы померла, а на огороде работать сил-то уже нет, неужели и вправду пенсию такую делают, чтобы пенсионеры быстрее на тот свет ушли? Я в сельском совете даже спросила: «Почему такая маленькая пенсия? Мне сказали: вот, мол, приедет твой брат, он тебе пенсию и поднимет». От такого я опешил. Что я мог ей сказать? Ничего, только воздух. Моя бы воля...

Целые поколения людей воевали, умножали национальное богатство, не жалея себя, не больно-то могли при этом попользоваться плодами своего труда. государство не скупилось в средствах на оборонку, стройки века и другие общественные нужды. А платило, как единственный хозяин – монополист на рынке труда, большинству мало. Пенсии подросли минимально хотя бы до прожиточного уровня к шестидесяти годам. А сегодня и это рухнуло. Пенсионная реформа не идет. И нищета грозит пенсионерам будущим то-

же. Что это – неразрушимая проблема?

Между тем наши СМИ с гордостью, сообщают, что совокупный объем стабилизированного фонда составляет уже больше 115 миллиардов долларов. Закон о создании этого фонда был принят в январе 2004 года. И деньги, деньги. Уходят за рубеж. Копятся, множатся, как бы на счетах с процентами. Там верняк – не пропадут. У нас хранить опасно. Потому мы вкладываем эти деньги в развитие других стран. Но не всей.

А есть пример Норвегии, тоже нефте-страны, где не остановились на «копилке». В прошлом году там было принято решение о переименовании стабилизационного фонда в пенсионный. Теперь у каждого пенсионера на счету по 44 500 долларов США.

И я думаю: почему же у нас Дарья Трофимовна и ее подружки по несчастью получают меньше реального прожиточного минимума – 2800 несчастных рублей? А некоторые чиновники и народные избранники всех уровней, которые никак не могут довести до нормального завершения ту же пенсионную реформу (как, впрочем, и все другие тоже), получают зарплаты, пенсии раз в десять, двадцать больше?

Кто бы, как бы это ни попытался объяснить какими-то сверхсложными проблемами, Дарья Трофимовна не поймет. Она с 12 лет работала в колхозе, решала посложнее проблемы свои и страны в условиях, какие сегодняшним чиновникам не снились. Благодаря ей и миллионам таких, как она,

выжила страна в страшную войну и одолела послевоенную разруху. Спасибо за внимание, конечно, президенту, спасибо, что не забывает посылать персональные открытки, но все же какие у нас перспективы персональные открытки, но все же какие у нас перспективы насчет нормальной пенсии в стране – в том числе персонально для Дарьи Тимофеевны? Боюсь, что пока никаких.

Мне не объяснить ей, что наша страна всегда принадлежала начальству. А это публика известно какая, одна команда сменяет другую, убирая предшественников. Широковещательные реформы при этом чаще всего оборачиваются примитивной и жестокой борьбой за власть. А поскольку такая борьба ведется любыми средствами, люди в процессе ее теряют всякий стыд. И потому немудрено, что наши народные избранники сделали у мартеновских печей. А те, кто действительно жизнь провел в горячих цехах и разного рода горячих точках – боевых и трудовых, – на старости лет еле сводят концы с концами.

Надо было ехать в Усть-Илимск, там ждала встреча с двумя двоюродными сестрами – Марией и Кирой, тоже детьми Трофима. Милин поезд уходил в Игирму. Остановившись на мосту, я долго глядел на быстрое течение чистой реки Кельки, бегущей к Ангаре, туда, где стоял мой отчий дом.

«А в детство заглянуть так хочется...»

Посвящается моему внуку Павлу Смирнову

Мои сны

Очень часто я вижу один и тот же сон, я летаю. Причем, не просто так, а по определенному маршруту: над деревней моего детства Погодаевой, что стояла на реке Илим, потом над другой шустрой таежной речкой – Тушамой, что в трех километрах от деревни, над пионерским лагерем, зеленым морем кедрово-сосновых зарослей, заполнивших эти благоденственные места, над каменистым и крутым Красным яром, желтыми отложениями берегами Илима, над лугами и пашнями. Причем, как бы парю и сверху все отчетливо вижу, будто наяву – я вижу картины детства. Удивительно, в Погодаевой я прожил около десяти лет, а в Петербурге живу уже 16-й год и мне дорог этот прекрасный город, но он не стал мне таким родным, как деревенька, в которой вырос.

В трех километрах от Погодаевой был пионерский лагерь, расположенный между тайгой, Илимом и Тушамой, единственный во всем районе. Мне не удалось там побывать, кон-

курс среди желающих был слишком большой, но мы – те из деревенских ребят, кто оставался дома, ходили в лагерь в гости, все вместе там играли. Ходили часто, к тому, что недоступно, особенно тянет, а потом запоминается на всю жизнь. И снова наступает ночь, я – теперешний засыпаю и снова лечу над Илимом. И подо мной тот пионерский лагерь. Речка Тушама. Потом – песчаный яр. Песок здесь летом накалялся до такой степени, что в нем пекли яйца. Стоять на таком невозможно. Мы прыгали с ноги на ногу, пока раздевались и скорей бежали к воде. Вот она – вижу в своем ночном полете сверху – наша тропинка, по которой мы стремглав мчались и прыгали в реку. А дальше – знаменитая у нас поляна перед деревней. Это место игр, встреч, увеселений, празднеств, общественных собраний и гуляний по самому разному поводу. Мы, пацана, играли здесь в лапту, взрослые – в городки. Поляна была большой, место кривое. Осенью и весной здесь жгли костры. Иной раз пламя поднималось очень высоко. Это был как бы фейерверк. Во всяком случае, все деревенские здесь собирались и радовались этому огню не меньше, чем в городе какому-нибудь салюту. А зимой с этой поляны гоняли вниз к речке на санях. отпрягалась лошадь, убирались оглобли у больших саней, девчата в них садились, парни толкали для разгона и все вместе весело летели с угора до середины реки.

Это было место общения, любовных свиданий. Отсюда же уезжали на покосы. Обойти, объехать эту поляну было

невозможно. Откуда бы ни возвращались, дошли до нее, пахался, я всегда пребывал в хорошей густой траве.

За поляной – я вижу со своего поднебесья – деревня, Родной место. Сорок с лишним домов вытянулись вдоль реки. Большой скотный двор, гумно, конюшня, наши огороды и палисадники – все как на ладони. Вижу Вовку Куклина, друга детства, который очень хотел стать художником. Он копил деньги, покупал на сбережения большие листы ватмана и на них делал эскизы своих будущих картин. Глядя на него, я тоже купил было лист ватмана, и попытался что-то нарисовать, но у меня даже наметок не получилось. Вовка не считался заводилой, но и не шел ни у кого на поводу. Рассудительность его примечали многие взрослые. Парень «башковитый» – так о нем отзывались в деревне, это высшая похвала. По сегодняшнему можно сказать – в нем гены сказывались. Отец его дядя Назар, был тоже известным у нас человеком, к его советам прислушивалась вся деревня. А руки – золото. Лодку, которую, он смастерил нам, я любил как дорожку. Игрушку – легкая была, красивая. Мне казалось, что краше ее нет ни у кого в деревне. И уж конечно она никогда не пропускала воду. А мама Володьки – с удивительным именем Фекла – добрая и приветливая, всегда угощала чем-нибудь вкусным.

Рядом дом Анисимовых – огромный, красивый, с высоким крыльцом. Большая семья, но главное, здесь жил еще один Вовка, тоже мой приятель. Умел организовывать нас на

какое-нибудь дело – не всегда доброе. Мы и дрались с ним – было дело, одинаково побеждая и проигрывая. Кто кого – это выходило по-разному. А в целом, по моему, складывалась ничья. Как я завидовал ему, у него была защита – это братья, а у меня две сестры, две девчонки, которым никогда не решать мужских проблем.

По воскресным дням к Анисимовым из Нижне-Илимска приезжала в гости родственница – мастерица парикмахерского дела и подстригала всю семью. трудилась обычно на полянке перед домом, что стоял над рекой. За работой наблюдали десятки любопытных. Удавалось подстричься и кому-то из нас.

Через дом от Анисимовых обретались мои друзья – братья Гошка Замаратский и Вовка Устюжин. Ребята погодки, фамилии разные из-за отцов. У Гошки была кличка Руся, у Вовки – Уся. Почему, их так называли никто не задумывался. Многие друзья детства так и остались в памяти по кличке, а имя вылетело навсегда. С Русей и Усей я учился с первого по седьмой класс. Вместе трудились на сенокосе, ходили на ночное, за грибами и ягодами. Вообще были неразлучны. Братья не числились ребячьими лидерами, но их уважали за честность. Они брали сторону тех, кого считали правым. Конечно, правоту определяли сами, она у них как-то совпадала чаще всего с мнением большинства.

А посередине стоял большой дом, жили Погодаевы, (в нашей деревне имелись три семьи с фамилией Погодаевы –

скорее всего, потомков основателей).

В этом же доме жил Гошка Погодаев, еще один мой приятель, друг – постарше меня, годков на шесть. Он – главный гармонист деревни. Ни один праздник, ни одна свадьба, гулянка, не обходилась без Гошки. Я и сейчас слышу звуки его гармонии – играл он бесподобно, мог подобрать аккорды к любой песне, и сам пел неплохо. Танцы без его гармонии нельзя было представить. Девчонки висли на нем гроздьями. А он, улыбаясь, растягивал меха и играл завораживающе. Многие ребята завидовали Гошке, учились у него, стараясь подражать, у некоторых даже похоже получалось, но как у Гошки никогда.

Почти рядом с нашим домом жили Белобородовы – дружная семья. Старший Леонид – механик от Бога. Собрал сам полуторку (грузовичек тех лет полторы тонны грузоподъемности), один. Из чего собрал – так никто и не понял. Но носилась она отменно по полевым дорогам. Помню, как деревенские, стоя на кузове пели песни, а позади машины стелился огромный шлейф пыли.

Младший – Виталька Белобородов – был мой ровесник. Невысокий и довольно хилый парнишка, тянулся ко мне. Дружбы особой не было, но мы играли всегда. Верховодил тут я. Он никогда не спорил со мной, обычно молчал, но на авантюры – вроде залезть в чужой огород, или украсть с колхозного поля горох – не решался. А ведь только в рискованных делах закаляется дружба, считалось у нас.

Я вижу моих деревенских сверстников. Ваньку Качина с сестренкой. Машку Перетолчину – обычно мы звали ее Муха, она за это злилась на нас до слез и била своими кулачками по нашим спинам. Вижу Гальку Погодаеву, Володьку Петухова... Всех. Не все, конечно, оставили одинаковый след в памяти, но все со мной.

А вот наш Илим... Сейчас он известен всему миру. К годы же моего детства – лишь в пределах наших таежных деревень по берегам.

Но, прежде всего, для меня это лучшее место, где прошло мое детство. Сразу после весеннего ледохода, как только успокаивалась вода и становилась теплее, мы купались до пупырышек на теле – почему-то это у нас называлось «продавать дрожжи». Чтобы согреться бежали на большую площадку, сделанную из плах у колхозного амбара (на ней осенью сушили зерно), и согревались на солнце. Нас тянула вода, словно магнит, а дно Илима знали, как свой огород. Знали где плыть, где встать, где нырять. Я не помню рядом взрослых, мы старались обходиться без их присутствия. Из-за этого и беды случались, но о них рассказ после.

Илим – это река трудяга. Первые русские, осваивавшие Сибирь, шли по Ангаре и Илимю. Это река – дорога. Летом лодки, баржи и катера шли по нему вверх и вниз. А зимой он превращался в широкую и ровную сухопутную дорогу. Ее очищали от снега, лошади, машины от деревни к деревне возили товары, людей и всякий прочий груз.

Илим – это река кормилица. Летом каждое утро, рано поднимаясь, иногда с маминой помощью, я бежал к реке, садился в лодку и плыл к поставленным с вечера, «мордам» – это такие ивовые устройства для ловли рыбы. Они стояла на реке напротив каждого дома. Места на то всем хватало. Единственно – чтобы не перепутать, поплавки были разные.

В основном попадались ельцы и сорога. (Здесь на западе сорогу зовут плотвой). Иногда – ерши и мокчоны, но они безжалостно выбрасывались, мороки с ними много. Правда из ершей уха получалась отличная, но на это нужно было время и вдохновение.

Ельцы и сорогу, чистил, и мама тут же зажаривала добычу на сковороде, заливая яйцами. Все покрывалось хрустящей вкусной корочкой. Это был завтрак, который запивался парным молоком. Я до сих пор ощущаю вкус этого необыкновенного блюда. Но сколько не пробовал сейчас его сотворить – не получается. Чтобы получилось, нужен наш Илим, нужен тот воздух, нужна мама. Река, тайга давали жизнь деревьям. И в этой жизни рождались люди, которыми мы можем гордиться.

Михали Кузьмич Янгель, отправлявший в первые полеты космические корабли, родился недалеко от Погодаевой, в деревне Зырянове. Это копия нашей деревни и я уверен детство его было примерно такое же, как у нас.

Николай Иннокентьевич Черных – Герой Советского Союза, получивший это звание в январские дни 1944 года, из

деревни Игнатьевой, что в трех километрах от Нижне-Илимска.

Илимская природа помогала раскрыться таланту писателя, художника, режиссера Георгия Иннокентьевича Замаратского. Она коснулась своей красотой и Юрия Егоровича Черных, писателя, жившего и учившегося в Нижне-Илимске.

Чтобы вспомнить всех, кто прославил илимскую землю, здесь не хватит места, это особая тема. А в последнее время появляется все больше книг о наших именитых земляках. А для меня они всегда были остаются в памяти моего детства.

...А вот Яр. Следом Нижне-Илимск, в котором был и клуб, дом культуры – все было как в городе. (По нашим, конечно, деревенским понятиям). И в день молодежи, а на самом деле на Троицу, все из окрестных деревень, из Нижне-Илимска шли на Яр. Там – гулянья, там собирались семьями, дружескими компаниями. Там празднична торговля. Это место для Нижне-Илимска, как дл нашей деревни та луговая поляна. Всегда Яр прибирали, не помню, чтобы при всех лихих гулянках там было грязно. Он наша достопримечательность – Красный Яр. Что помешало назвать Нижне-Илимск Красноярском? Не знаю.

А Красный Яр – это почти что отвесный, под небольшим углом склон. Высота над рекой примерно как у современного дома этажей в тридцать. Были случаи, когда подгулявшие мужики, оказавшись на краю яра, падали. Не помню, чтобы

разбивались, увечий тоже вроде бы не было, но синяки свои получали. И у меня, когда подходил к краю обрыва, сердце замирало. Илим и деревня Погодаева внизу под ногами, птицы носятся над нами, но ниже тебя. А если внизу смотреть на Яр, то он закрывает полнеба. Он могучая стена, а ты песчинка, камушек. А сосны на Яру растут в небесах.

За Красным Яром – вижу с высоты своего полета – начинаются поля. (Красный он оттого, что весь из песчаника такого цвета. С небольшими вставками других оттенков). Я – над полем, где Большая деревня. Рядом Хутор и кулига. Сюда, на Илим ходили рыбачить, по берегам коров пасли, в ельник – за рыжиками. А вот и Черепановка. Здесь наше деревенское кладбище. С ним тоже связано много памятных событий. Но они – особая тема.

Приземляюсь в собственном огороде. Для меня он не просто картошка, морковка и прочие овощи, забота и которых считалась моей обязанностью с самого раннего детства. Здесь у меня случались и приключения. Одно даже морское. Дело было весной. В тому году нанесло много снега. Он начал таять, и в огороде образовалась огромная лужа. На этот судоходный случай у меня был свой плот. Я его с началом «навигации» подправлял и на нем путешествовал. Огород-то большой был, я упирался шестом и плыл. Одни раз потерпел кораблекрушение – перевернулся. выбрался на берег и мокрый домой, на печку, сушиться. Все равно хорошо. Тогда, конечно, не думал, что через много лет президент Рос-

сии Борис Николаевич Ельцин наградит меня медалью «300 лет Российскому флоту». Но это – за другие путешествия.

С этим огородом связана немалая часть моей детской жизни. Одной воды сколько переносил для полива наших грядок! Лет с восьми я уже здесь работник. Мужиков в доме больше нет – я это понимаю. Мать, уходя на работу, ставила задачу. Сейчас на даче просто: взял шланг и поливай, а тогда нужно было брать коромысло, два ведра и на Илим. Чистая река была, пили прямо из нее. Мутнела лишь, когда шел ледостав. Но на это время – на два-три дня – запасались водой заранее. Таскать воду, даже не коромысле было нелегко, хоть и менял плечи, но они всегда болели. Зато урожай радовал.

Самое странное, что по курсу моих полетов вовсе отсутствует Нижне-Илимск. А он – через реку. Я там учился, бегал в кино. Почему его нет? Не мое село, потому, видно, и не затвердело в памяти. Вот вижу бор, где бруснику собирали, а Нижне-Илимска нет, как нет.

В Погодаеву мы переехали как раз из Нижне-Илимска. Эта деревня основана в 1645 году. Сейчас-то конечно – сто лет сюда, сто обратно. Но только подумать, какое время: еще нет царя Петра, его реформ, еще центральная Русь вся в лесу, а Погодаева уже стоит. Иркутск, который сейчас центр Восточной Сибири основан позже, да что Иркутск, Нижне-Илимск, что напротив, через реку, и то чуть позднее. Уверен, Погодаеву, ставившему первый сруб на берегу Илима, приглянулось это место сразу.

Увидел, как деревенька протянется по берегу Илима и с подветренной стороны закроет ее Красный Яр, как люди будут любоваться Качинской сопкой.

Вот так и стала жить деревенька Погодаева, одна из первых в илимском воеводстве.

Мама не то купила дом, не то колхоз дал. Но когда она умерла, сестры дом продали, значит, это была собственность. Это был даже не дом, а прируб, к избе бабы Харитины Перетолчиной. Жили мы с соседями дружно. У ее дочки я вместе с мамой даже принимал роды. Бегал за водой, а потом с этой Галкой, которая родилась, еще возился. Наш прируб метров шесть в ширину и метров пять, в длину, кухонька, отделенная деревянной перегородкой, огромная русская печка. Остальное – большая комната, в которой стояли две кровати. На одной спали две мои сестры, на другой мама и я с ней. А когда стал постарше – лет с шести мне отвели место на русской печке. Здесь сушилось зерно. Я устраивался на подстилке и засыпал под запахи свежего хлеба. А утром в воскресенье, когда мать начинала стучать посудой, выглядывал в проем и протягивал руку: «Мама, пирог хочу». И тут же он – только из печи, горячий – у меня в ладони... Вообще, это была жизнь, наполненная чудесами. Научившись читать, я ставил рядом с собой керосиновую лампу и, закрывшись шторкой от остального мира, читал запоем. Мне являлись картины от прочитанного, вокруг было темно, только желтый кружок от керосиновой лампы и я в мире, навеянных

прочитанным, грез.

Иногда не расставался с книжкой до утра, за что мама ругала, правда без злости, я это чувствовал. Рядом со мной спал любимый кот. Его не интересовало никакое чтение, главное – тепло и рядом блюдечко с молоком. Все, что было у меня дорогим и любимым хранилось здесь же. Здесь я мечтал и рос, как писалось в сказках не по дням, а по часам. А какую вкуснятину делала мама в самой печи! Эти круглые большие булки хлеба, аромат их свежеиспеченных каждое воскресенье заполнял дом. Да так, к сожалению и остался в том далеком детстве. А щи и борщи в чугунках, подтомленные в русской печи, а пареная брюква и другая вкуснятина... Два раза в год печь подмазывалась и белилась и чуть-чуть дав ей передохнуть, я снова забирался наверх, чтобы жить жизнью счастливого человека.

С полетами во сне являлись все новые памятные истории. Полузабытое детство оказалось большим и весьма содержательным. Я решил написать о том, что помню, что часто вспоминается, что иногда вижу во сне. Так получилась мозаика небольших рассказов, из той детской жизни.

Как меня не взяли в школу

Деревенскую школу с городской не сравнить. Это священное место. Как церковь. Их одинаково принято почитать в деревне. Сейчас в это трудно поверить, но, будучи пацанами,

мы никогда в школе не хулиганили – ничего не ломали. Это и в голову никому не приходило. Случайно разбитое стекло – трагедия, залитая чернилами тетрадь – кощунство. Авторитет учителей высочайший. Если в дом приходил с жалобами на тебя учитель, это ЧП. Мне кажется сегодня, что милиционера боялись меньше. Нет, хороших учителей не боялись – их уважали. Колхоз помогал им дровами, сеном, иногда школу поступал дважды.

Было так. Бегали мы, пацаны, все вместе по улице, и вдруг я слышу: «Завтра в школу». Я дома и говорю: «Мама, Володька завтра в школу, Ванька тоже». А она мне: «Ну и ты иди». Я и пошел. Нас посадили всех за парты. Уже интересно. Учитель – Георгий Васильевич – начал знакомиться с нами, первоклашками. Дошла очередь до меня, он спрашивает:

– Ты какого года рождения?

– Не помню...

– Сходи домой, принеси документы.

Принес и услышал:

– Погуляй пока, в следующем году приходи.

– Как же, Володька, Ванька, мы же все вместе. Хочу с ними...

– Нет, Мишенька, им пора в школу, а тебе рано.

– Хочу с Володькой...

Расстроился. Но не надолго. Не один оказался такой юный школьник-доброволец. Вышли мы из школы и горевать перестали. На улице тоже было интересно, речка, лес, много

чего. В следующем году пришли, сели за парты, как полноправные ученики. Первым учителем у нас был Георгий Васильевич, фамилию не помню. Одной руки у него не было – потерял на фронте. И с нами был злоблив, будто в школе продолжать воевать.

Меня усадили с «Мухой» – Машкой Перетолчиной. Отношения с девчонками вообще у нас были сложенные, а с ней у меня особенно. Один раз уколол нечаянно ее перьевой ручкой. Она в крик, а учитель – тот самый Георгий Васильевич – схватил меня одной своей рукой так зло, что я перепугался. Рванул, оборвал рукав у рубашки, чуть толкнул и я на полу. С тех пор он для меня перестал быть учителем, я боялся его. Но скоро он ушел. Пришел другой на место нашего злюки – Перетолчин (не помню имени, отчества) – та же история. У него было два сына, с одним мы учились, другой был постарше. Мой ровесник, видимо, учился плохо. И вот однажды у доски он его прямо на уроке начал колошматить. Мы затихли, дело невиданное. какой это учитель? Никакой. И мы это чувствовали. Его тоже невзлюбили, да и он точно так же, как и первый, в школе надолго не задержался. Почему нам так не везло? Война. От нее злость в людях даже самой доброй профессии. Но ведь не все даже среди самых натерпевшихся стали такими.

В школе была большая комната – что то вроде библиотеки. И в конце первого класса я там первый раз в жизни взял и прочитал книгу «Конек-Горбунок». Сейчас мой внук Па-

шенька начал читать – пока по слогам. Я слушаю его и вспоминаю себя. Тоже по слогам читал. Некоторые слова были непонятны. Но я все же прочитал волшебную сказку, и для меня это было счастье! Все, я читатель, сам могу взять и прочесть любую книгу. Потом я приставал к матери, просил послушать, как я читаю. Спасибо маме – ей было, конечно, не до меня, на ней все хозяйство, но она меня слушала. И хвалила, какой я молодец. Она меня любила. Я это знал. И в этом, по-моему, суть, в то числе и педагогики.

Заблудился во ржи, как в лесу

На наших полях сажали пшеницу, рожь, горох, овес. Гороха сажали особенно много. Его потом шелушили и выдавали на трудодни. Когда заканчивался первый сенокосный день, в первую очередь варили гороховую кашу. Вкусная штука. Горох был под колхозной охраной, потому что мы, пацаны, как только он поспевал, непременно направлялись его ворошить. Набивали им рубахи, сумки и все, что только имелось. Ели «от пуза». Запретный плод сладок. И это при том, что в своем огороде этого гороха сколько угодно. Вот мы однажды направились на промысел. Быть бы ему обычным предприятием деревенских пацанов, как мы себя звали. Но в этот раз нам был приготовлен сюрприз.

Жил у нас в деревне, Коля Еха, со странностями парень, говорил плохо. Но физически сильный, здоровый. И вот в

тот день, когда мы отправились за горохом, на нашу беду Колю Еху назначили дежурным по полю. Мы знали, что есть сторож. Но не знали кто. За что и поплатились. И вот, только нас четверо пошли на дело, Еха нас заметил. Он был на коне. И сразу в погоню. Если бы кто-то из нас попал под коня, раздавил бы, не дрогнул. Одному мальчишке попал бичом, рассек ему всю спину. Так на всю жизнь шрам остался. Еха был не скажешь, что злой. Он просто не знал жалости, вроде зомби. А знал только одно: ему сказали – сторожи! противостоять мы могли одной тактикой, врассыпную бежать в разные стороны. И вот с испугу я влетел в рожь. Бежишь, рожь колышется, вроде скрылся, но когда все стихло, я понял, что не знаю, куда идти. Рожь в два метра. Не видно ни леса, ни деревни. Святая деревенская заповедь – топтать хлеб, или, как говорили «делать потраву» – величайший грех. Нигде это не было записано, но знал об этом каждый от ребенка до седого старика. Я в хлебах, страх загнал, и корю себя за сделанное, боюсь мама узнает, что хлеб потоптал. Все стихло, привстал, куда ни посмотрю везде рожь, сверху небо. Где я, где дорога – никак определить не могу. Ходить по ржи – это ж как можно. Стал прислушиваться, может, кто по дороге поедет. И точно, вскоре заскрипела таратайка – это телега на двух колесах, и я аккуратно стал выбираться из ржаных зарослей на волю.

Ну а горох, разлетелся из под рубашки пока бежал. Остатки оставил во ржи. Расхотелось есть, да не для еды и наби-

рали, все приключений хотелось. Вот и получили. В деревню пришел через лес последним, ребята сидели на берегу Илима, грустные. Вовка, у которого была рассечена спина и порвана рубаха, первым примчался домой. Его там лечили, заодно и воспитывали. Мы молчали. Поход явно не удался. Но уже через несколько дней, встречаясь на площадке у колхозного амбара снова, как заговорщики понизив голос стоварились в новый поход по запретным местам...

Меня приняли в пионеры

Толком уже и не помню, как я, девятилетний мальчонка, сумел уговорить вполне здравых мужиков на эту опасную переправу через нашу довольно-таки широкую реку Илим, полную в это время больших и мелких льдин, которые просто могли перевернуть лодку и растереть ее. Готов поручиться только, что не говорил, зачем на самом деле мне позарез надо было на тот деревенский берег. Понимал – это не подействует. Мужики не поймут. Потому что врал что-то насчет больной матери, которая ждет меня не дожидется с лекарством и помочь ей больше некому и нечем.

Была вторая половина дня, который я запомнил на всю жизнь: 5 ноября. ледостав на Илеме. Мы, погодаевские, учились в школе райцентра Нижне-Илимск, что от деревни через реку. Когда она замерзла, на занятия по ледку – пешком, пока тепло – на лодке, иногда на канатном пароме. А когда

ни то ни се – предзвонная ледовая шуга или весенний ледоход и дороги нет – мы обычно квартировали 3–4 дня у знакомых в райцентре. И на этот раз я уже устроился на постой. Но наступил тот самый необыкновенный день – меня торжественно приняли в пионеры, повязали галстук, и мне тут же захотелось показаться в нем матери.

После торжества я вышел из школы, направился к реке, дошел до скобяного магазина и понял: все, навигация закончилась. Домой теперь только по льду, когда он устоится и окрепнет. Но все равно захотелось предстать перед матерью прямо сейчас, в новом пионерском наряде.

Прием в пионеры тогда для нас был большим праздником. Вожатые готовили участников будущего церемониала к событию, рассказывали о традициях, истории пионерской организации. Постоянно повторяли, что стать пионером – большая честь. Первыми принимали отличников. А я учился в основном на пятерки... Конечно же, был необычайно горд, оказавших в таких почтенных первых рядах. Но даже не в этом состояла главная суть события. Мне повязали галстук, я посмотрел на себя в зеркало и сам себе понравился. Все, я уже не какой-нибудь там малыш, я – пионер. То есть теперь вровень с теми ребятами, на которых еще недавно смотрел снизу вверх. И этой новостью надо немедленно поделиться с матерью. Как же, она главный человек, который меня понимает.

И вот, напряженно глядя приметил на берегу троих мужиков. Узнал – погодаевские. И не то готовят большую лод-

ку к зимовке, не то собираются опять же на ней в ледокольный рейс. Чистят снег, сдалбливают лед. Сразу – к ним и жалобно, как мог, начал канючить: «Дяденьки, возьмите меня с собой, очень надо...». Сначала одни покрутил пальцем у виска и посла меня подальше. Потом начали ругаться все. Но я не отставал. Доводы про больную маму, как видно, все же расторгали мужиков, и они отваживались со мной отправиться в плавание.

Плывем. Не северный морской путь, конечно. Но у нас тоже далеко не ледокол. Я на дне посередине лодки. Двое мужиков с кормы и носа отталкивают шестами льдины, третий на веслах. Льдины несет течением, они лезут одна на другую, толкают наше суднышко в борта, лодка кренится и, кажется, вот-вот перевернется. Смотрю на берег. Он уже полон зрителей. Вся деревня следит за нашим рискованым аттракционом. Помочь все равно нечем: спасательных катеров в деревне не было. У некоторых бинокли. Мы подобралась поближе, и я узнал в толпе мать. Ей уже сказали, что я тоже в лодке. Около двух часов добирались до берега вместо двадцати – пяти минут по нормальной воде.

Едва ступили на земную твердь, мать с причитаниями хватает меня за руку, ощупывает – целый, сухой – и бегом тащит домой. Все повторяю: «Мама, мама, в пионеры приняли...». Но он вроде как не слышит, не отвечает. Только уже дома, когда я снял фуфайку и явился во всей пионерской красе – в белой рубашке с красным галстуком, она оглядела меня,

кивнула, но так, ничего и не сказала. Накормила и уложила спать. Конечно, думал я, засыпая, мама кажется переволновалась: перевернись лодка, мы могли бы утонуть – в ледяной воде много не наплаваешь. Могли – но ведь не утонули!

Сейчас я понимаю, что девяносто мам из ста за такой подвиг хорошо отшлепали бы своих героических сыновей. И по праву. Но моя мама была из тех десяти самых мудрых мам. Я у нее числился «младшеньким», как она говорила, последним ребенком. И она меня любила, как это обычно и бывает в таких случаях, больше всех и потому часто за многие детские грехи прощала.

Моя первая поездка в лес за дровами

В разных странах мира встречаются люди, которые верят, что в Сибири сплошные медведи. Бродят косяками едва не прямо по городским улицам. Не знаю, по моим деревенским наблюдениям, косялапы предпочитают проживать в лесу. И на глаза людям не попадаться. Потому встречи с ними – если это не специальная охота – большая была редкость во времена моего деревенского детства. А вот волки – другое дело. Они у нас коров задирали, в хлевы наведывались. Это обычно зимой, когда в лесу голодно. А лес, то есть настоящая дремучая тайга – рядом, за околицей. Было даже так: идешь по деревне, слышишь, собаки на истошный лай исходят. И тут же догадываешься: это ж волки рядом! Но никуда

уже не деться: волки, лес и деревня – все рядом. И они, и мы – все по своим делам. И кто кого больше боится – неизвестно. Деревня зимой тех лет как продолжение тайги. Те же сугробы, темно, электричества не было. Некоторые окна чуть светятся – это керосинки. А в большинстве изб раньше, едва темнеет, ложились спать. Линию электропередачи тянули к нам, когда я уже уезжал из деревни (это была вторая половина 1960 года). До того электричество имелось только в Нижне-Илимске, где мы в школе учились. Так что волки были мне не в диковинку. Но по-настоящему узнал их нрав, когда однажды едва не стал их добычей. А вышло так.

Заготовкой дров в деревне обычно занимались весной. После майских праздников деревня пустела – не заготовишь топливо, зимой замерзнешь. На выделенных делянках пилили сосны на чурки, кололи их пополам (это называлась плащина), потом складывали в поленницу. За лето они высухали, и как только выпадал снег, вывозили дрова. Это была обязанность мужиков. Но у нас в доме только мама, и ей приходилось заниматься этим нелегким делом. Вместе с моими сестрами я был тут первым помощником. Конечно, валить деревья мне не доверяли – это делала мама с Капой, но рубить сучья, собирать и сжигать их, пилить хлысты на чурки и колоть на плащины – моя работа. К вечеру в глазах темно. Спасибо маме, держит меня крепко за руку и приговаривает, какой я у нее молодец. За дровами в лес мы ездили вместе с мамой: запрячь лошадей да по мягкому снежку проехать –

одно удовольствие. Но мне очень хотелось съездить одному. Был уже большой, по моим понятиям. И однажды мне удалось уговорить мать.

Она проводила до околицы. Хоть и побаивалась за меня, но отпустила. счастье было великое. Приехал к делянке. Сложил дрова, обвязал веревкой, специальным узлом закрепил для надежности. Все по-взрослому. Отправился в обратный путь. Один все делал, задержался, а день зимний короткий. Быстро темнеть стало. И вдруг, когда подъезжал уже к деревне, лошадь забеспокоилась. Перешла на рысь. Сама, без команды. Попытался ее притормозить – ни в какую. Бежит все скорей. Смотрю по сторонам, вижу – собаки. Стоп, какие собаки? Им неоткуда взяться. понял – волки! Схватился за облучок, кобыленка несется изо всех сил. Я держусь, чтобы не вылететь. Сани могут в любой момент перевернуться. К счастью, участок дороги был прямой, без поворотов, подъемов и спусков. И вот вылетаем на полянку. Дальше деревня, дымком из труб пахнет. Волки остановились. А лошадь так до самой околицы деревни галопом и долетела. Встали. На лошадь смотреть страшно, бока ходуном ходят. Мама встретила нас у околицы, все поняла, гладит мои руки, а я их отцепить не могу: пальцы не разгибаются, дыхание перехватило, только мычу и головой назад показываю. Отдышались вместе с лошадей, мать взяла ее под узду и повела домой.

Так, первый и последний раз я ездил за дровами.

Как я стал «поджигателем»

Первое мая. Демонстраций с криками "ура» в Погодаевой в этот день никогда не бывало. Зато всегда – веселый праздник на знаменитой деревенской поляне. У нас, пацанов, свой. Мы играли в разные игры. В этот раз – после лапты, городков вдруг решили поиграть в войну. А тут как раз приехали машины, работавшие на заготовке леса. Их оставили тоже на поляне, сторожей не было, конечно, никаких. И кому-то из наших пришла в голову идея, отлить из машин бензин и сделать «коктейль Молотовая» – про коктейль этот читали. В чем наша игра? Банку с бензином кидаешь в костер и – взрыв. Как на настоящей войне. Пока разливали горючку по банкам, вымазались в бензине. И тут появилась попутная идея, вывести «ципушки» у Вовки Петухова. Наше деревенское детство, у меня в том числе, проходило под знаком этих самых «ципушек». Кисти рук и ступни ног от воды, грязи и еще неизвестно отчего растрескивались, кровоточили, боль была нестерпимая. Чем только могли наши матери, смазывались нас, но не успевали закрыть старые ранки, как появлялись новые.

И вот Вовка Куклин говорит Вовке Петухову: «Слушай, ты бензином помочи ципушки, потом огонька сюда, они обгорят и пропадут». Целительное изобретение было единогласно одобрено. И Петухов промывает, Куклин чиркает

спичку... Тут я соображаю, что еще мгновение, и парень загорится. Сгореть не сгорит, но ожог будет точно. И выбиваю спичку, а она падает на бензин, который мы поразливали вокруг, и вся машина вспыхивает. На меня кричат, я в ответ тоже кричу: «Дураки, я же Вовку спас», но куда там, огонь разгорается. Похватали ведра, бросились к реке, зачерпнули воду, плеснули, а пламя еще больше. Бензин же. Горит машина. Кузов у нее деревянный, колеса резиновые, все пылает. К нас бегут люди. Мы – врассыпную. (Хотя народ машину тушить бежал, а не за нами). Ребята на бегу опять мне пеняют: «Это ты, ты машину поджег!». Ну все, подумал, теперь не оправдаться – я главный поджигатель. А машина с лесхоза, дело подсудное. Жалко себя стало, а еще на праздник штаны получше надел, рубашку, тапочки старшей сестренки. Кому-то праздник, а мне? Что теперь будет? Домой не побежал. Вдоль леса и – не хутор у Илима. Там зимовье. Посидел, отдышался в нем. Вышел на берег. День солнечный, тепло, я один. Вижу, идут ребята постарше. Оказалось, это старшеклассники. Один из них был мне знаком, сейчас не помню его имени.

Рассказал им про свое горе. Один, которого я знал, пригласил в свой дом. родители его меня вымыли, накормили и уложили спать. А утром посоветовали больше не скрываться и вернуться домой. Мать же, говорят, переживает, ищет. Решил: будь что будет. Иду, дорога дальняя, до Погодаевой семь километров. А подошел уже к околице и вижу, бегут

в мою сторону взрослые парни: ни слова не говоря хватают, меня в охапку и доставили в дом. Оказалось, мать действительно меня уже искала с милицией.

После праздников мне, поджигателю, на пионерском сборе предложили отчитаться, как все произошло. Отчитался. Хотел как лучше, чтобы Володька не сгорел. В итоге наказали пострадавших водителей за то, что оставили свои машины без присмотра. Хотя они тоже, наверное, хотели, как лучше.

Смерть вождя

Начало марта 1953 года я запомнил благодаря товарищу Сталину. В это время, как всегда, зима боролась с весной, морозы стояли за тридцать. Через месяц мне семь лет. Я еще не школьник и потому, сделав свои дела по хозяйству – покормив собаку, поросенка, корову, доставив воду с реки, быстро забирался на свою любимую печку и отогревался.

В этот день Мила принесла из школы весть, что заболел товарищ Сталин. Вечером, когда ужинали, только и было разговоров об этом. И не только у нас. Это было народное горе. Люди переживали за товарища Сталина как за родного отца, а не государственного деятеля. Причем искренне. Молились, только бы выжил. Каждый день я ждал сестер, а они приносили новости о состоянии любимого вождя одна другой хуже. А потом приходят совсем поникшие – умер. Рыдают.

Мать тоже громко заплакала. Потом все оделись и отправились через реку в Нижне-Илимск. У райкома партии было много народу. Никогда этого не забуду. Стоит у райкома первый секретарь, еще кто-то из свиты. Все рыдают навзрыд. И еще запомнилось: тишина, когда выплакались все. Только слышно, как гудят провода. Неизбывное горе. Кто-то сказал: «Хуже войны». Много позже я прочитал поэму Владимира Маяковского «Ленин», и там были такие слова:

*Мороз небывалый
Жарил подошвы,
А люди днюют давкою
Тесной,
И даже от холода
Бить в ладоши
Никто не решается:
Нельзя, неуместно.*

Такое же было и у нас: мороз, люди отчаянно замерзают, но уйти нельзя, все как у Маяковского, писал с натуры. Никогда больше – ни до, ни после – я не видел, чтобы люди так убивались по человеку из власти. Каким бы любимым в народе он ни был. Это сейчас мы относимся к власти попроще. Что она такое? Это, говорим мы, разного рода менеджеры, которых в цивилизованных государствах люди регулярно и на определенный срок выбирают, чтобы они лучшим образом организовали решение проблем нашего жизнеустрой-

ства. А тогда товарищ Сталин был единственный отец родной. И самый мудрый. Других нет и не будет. Потому что для всех нас и, наверное, для большинства в стране его кончина была как конец света. Я это точно видел.

Проба пера

Однажды на уроке русского языка мы писали сочинение «Как я провел лето». Я написал, как гонялся в лесу то ли за зайцем, то ли за ежиком. И не догнал его, конечно, как ни старался. Учительница потом одобрила несколько сочинений – в том числе и мое – и отправила их в «Пионерскую правду». Для нас тогда это было очень авторитетное издание. И вот однажды мне приходит грамота из этой газеты. Ее принесли в большом конверте. Она была необычайной красоты, от нее исходил неведомый мне до того запах типографической краски. Я загордился. Пока, конечно, не писатель, но уже близко к тому. Меня поздравили. В грамоте говорилось, что редакция меня отмечает как юного корреспондента. Из пяти или шести посланных в газету наших сочинений один я удостоился такого звания. А раз я теперь юный корреспондент, надо дальше писать. И я написал для газеты стихи следующего содержания. До сих пор их помню:

*В небе летит самолет,
Его дальний, умный полет,*

*Летчик штурман ведет.
Он летит в облаках,
Он и в небе летит.
У него на руках
Планишет с картой лежит.*

Отправил и жду публикацию. Вместо нее получаю письмо, в котором написано примерно следующее: мальчик, для того чтобы писать стихи, надо уметь их писать. Если можешь не писать, не пиши. Письмо пришло домой, в деревне о нем всем сразу стало известно. Прошел слух: почтальон сказал, что Мишке из «Пионерской правды» опять письмо. Все ко мне, ты скажи, что прислали, опять грамоту? Я помалкивал, делал таинственное лицо. О содержании письма знали только сестры. Но я с ними договорился молчать. Об этом никто не должен знать. И мои сестренки свято хранили тайну. А стихи, как выяснилось потом, я все же не мог не писать. Потому писал, сам читал их со сцены клуба строительного техникума, в котором после школы учился. И ничего, кое-что моим слушателям, похоже, нравилось. Но совет «Пионерской правды» пригодился. Я ему следовал, писал, только когда чувствовал, что не могу не писать.

Работа «по хозяйству»

В городе часто говорят: «Ребенка надо учить любви к тру-

ду». А в деревне такого что-то не слышал. Не помню. В то же время и я, и мои сверстники, как наши родители и прародители, – дети всех, надо полагать, поколений по этой цепочке – начинали помогать «по хозяйству» с ранних лет. Так принято в деревне сибирской. Сельского человека молча учит любви к труду сама природа. Он работает с ней, как с главным партнером. И даже не любит, учит – это, по-моему, не то здесь слово – взаимопониманию.

Сколько лет прошло, а до сих пор помню: наступает июль, и у меня, у моих друзей-малолеток уже «руки чешутся». В начале июля сенокос. Не раньше – не позже. К этому времени в самый раз подрастала трава. Никто не заставлял нас, не гнал в поле. Просто все знали, срок пришел. Хочешь иметь в достатке корм для своей животины и колхозной, чтобы она в свою очередь исправно весь год кормила тебя, – поспевай. Деревня в эти дни пустела. Взрослые – все на сенокосе. И мы с ними. потому что тоже уже не маленькие. Даже если бы не позвали, все равно пошли бы с ними.

Накануне формировались бригады по 10–15 постоянных косарей и подручных на одни и те же каждый год луга в Елань, на Дальнюю Тушаму, на Россоху. сенокос – дело исключительно мужское. Но в воскресные дни да в хорошую погоду приезжали нам помогать наши мамы и сестры. Тоже никто их не собирал, не направлял. Телефонов и даже радио в нашей деревне тогда не было. Они сами знали: сено подсохнет, его надо сгребать.

Когда все эти люди работали на лугах, это был праздник. Там мне, во всяком случае, тогда это виделось Зелень, вода, лес, кони и растущий на глазах «зарод» – так у нас называют стог. Без отдыха весь световой день, остановка на скорый обед, снова покос, а иногда вдруг чья-то песня... Помню, успевал сделать столько, что удивлялся – неужели это я сделал?

Нам редко поручали косить. Это дело все же взрослых, уже сильных, выносливых мужиков. Лишь иногда кто-то из нашего младшего состава удостоивался такого доверия. А когда удостоивался, для избранника это был как бы урок мужского взросления и выполнялся, конечно же, с необыкновенным прилежанием. Потому у нас (да и не только, конечно, у нас) в деревне с детства все мужское сословие было научено косить. А основная наша работа (и моя в том числе) состояла в том, чтобы отвозить сено, огораживать стога, выполнять самые разные срочные задания. И все это происходило в местах такой красоты, какой я больше нигде не встречал, хотя довелось немало попутешествовать по свету. Конечно, воспоминания детства, молодости всегда окрашены в яркие краски, где бы наши лучшие годы ни проходили. Но, даже делая скидку на это, без всяких чрезмерных преувеличений я вправе утверждать: Сибирь – край сказочный. А наша деревня была примерно в его центре. Здесь континентальный климат. Зимой – стужа, летом – жара. И такие же яркие контрастные краски в природе во все времена го-

да. Темно-зеленая до черноты с голубым небесным отливом на горизонте тайга. Тоном светлее тяжелые кроны ближних кедров и сосен, мохнатые елки, что смотрятся в свое отражение с берегов Илима, Россохи, Тушамы и других речек в их чистейшей воде. Сами эти речки – прозрачные и холоднющие, с омутами и перекатами – пробивают дорогу к Ангаре между красно-бурых отскоков и желтых песков пляжей. Как говорил тогда наш бригадир Василий Васильевич, который в войну много где побывал в Европе: «Краше наших мест не знаю. Вот если бы еще вот этой мошки не было, гнуса и слепней...»

Сенокосные поля готовили еще первые переселенцы в годы начала освоения Сибири. Они основали здесь свои зимовья Погодаевых, Куклиных, Черемных, Кудриных... Можно перечислять почти все деревенские фамилии. В Сибири не было крепостничества, все вопросы решались на деревенской сходке. Покос – землю наделяли, ухаживай за ней, и это будут твои покосы. В собственность участки не давали, но крестьянин, как пользователь земли, мог ею сполна распоряжаться. Каждый луг имел своего хозяина и свое название. И в мои времена – что были у нас за луга! Ни кочек, ни ям, все чисто, трава, как нарисованная. Я ничего не говорил про эту красоту. Просто смотрел и, конечно, радовался. На то она нам и дана. И за этой красотой даже далеко не надо было ходить, она начиналась за окнами нашего дома. Кроме колхоза, в котором все трудились, у каждой семьи имел-

ся свой огород, свое хозяйство. У нас, к примеру, не самых обеспеченных, была корова, свинья, 10–15 кур. Некоторые держали коз. В огородах росли самые разные дары природы. Больше всего выращивали картошку, засыпали осенью ее в хранилище и за зиму все съедали.

Мы, конечно же, не столько любовались природой, сколько с ней постоянно работали. И если ее правильно понимали, она нас щедро вознаграждала. Не только своими продовольственными дарами. Я уверен, она еще и подспудно учила добру, учила, по выражению Солженицына, «жить не по лжи». Не случайно, думаю, ни одни из моих сверстников не пошел по кривой дорожке. Это значит, что они оказывались прилежными учениками на той нашей детской учебе с глазу на глаз с нашими благодатными полями, лесами и реками.

Кроме прочего, природа приучает живущего в ней человека думать о простых и естественных закономерностях и дарит ему уверенность в себе и спокойствие, когда он ее понимает. Деревенские люди потому так и простодушны, что постоянно имеют дело с ней. И труд их потому и считается самым здоровым, что ему сопутствует гораздо больший, чем в искусственной городской среде – психологический, а не только экологический комфорт.

Говорят, все от Бога. Сегодня у нас все верующие. Но меня учили другому, и не трудно перестроиться. Только я точно знаю: есть святые вещи. Они внутри нас. И к ним надо прислушиваться.

Помню, мы с Володькой Анисимовым отправились к его отцу поздней осенью в Большую Елань – живописное место. Он там то ли охотился, то ли рыбачил. Но мы не мешали. Это был поход километров 20 в одну только сторону. Октябрь тогда уже наступил. Никаких слепней, мошки. Таежное царство, как оно есть без этих надоевших летающих гадов. И вот раннее утро. Стога. Я проснулся и вышел из зимовья. Скошенный луг. Тихая зеркальная речка. Оранжевое солнце встает. Довольно прохладно. И – хорошо. С чем это сравнить? Ни с чем. Не побоюсь показаться наивным и скажу, убежден: кто понимает, принимает такое как что-то свое, самое близкое, тот не может быть плохим человеком.

Как-то приезжали на сенокос к нас чужие, но тоже деревенские. Я попросил махорки у кого-то из этих мужиков и решил побаловаться – покурить. Сделал самокрутку и запыхал. Увидел дядя Вася, бригадир, отобрал и говорит: «Заходи». Я захожу, а они Ивану Петухову, взрослому парню, говорят: «Помни Мишу». Я не понял. А тот взял меня, вывел ан улицу и начал действительно круто разминать. Минут через 20 меня начало тошнить. И скоро стошнило. После чего дядя Вася и спрашивает: «Ну что, Мишка, курить будешь еще?. А мне свет не мил, и ни курить, ни смотреть ни на что не хочется. Говорю: «Не буду». Было мне 12 лет. Первая табачная проба на этом закончилась. Закурил я лет в 15, после смерти мамы. Но три года – спасибо дяде Васе – никакого желания. Ведь другой человек мог бы просто пройти, паль-

цем пригрозить, мол, матери скажу. Нет, всерьез постарался отучить совсем уже мелкого пацана от вредной привычки. Хотя бы на время. Похоже, он и других малолеток так отучал. Зачем это ему? Подвижник такой. Мимо не пройдет. обязательно поможет.

А как на сенокосе все спорилось! Одни делают копна, мы их на конях вывозим. Веревку затягиваем бастрючным узлом. Даже кони в том же ритме стремились не терять время. А тот, на котором я работал, был уж очень исполнительный – как только слышал букву «р», сразу останавливался. Однажды верхом я только сказал напарнику: «Аполинар, ты куда?». А конь встал как вкопанный, услышав букву «р». При чем дело было на полном скаку. Я кувырком вниз.

Была у нас работа и «по хозяйству» необычная. Как только заканчивалась учеба в школе, мы отправлялись на заработки на кирпичный завод, который располагался на краю Нижне-Илимска; перед красным Яром. Технология несложная. мешалась глиняная масса, проволокой резалась по образцу, и после кирпичи отправляли на закалку. Мы таскали дрова к большим печам. Иногда даже ночами дежурили. Здесь получали наши первые заработанные деньги. Несли их в дом. На кирпичном заводе я начал работать лет с двенадцати, как остальные наши ребята. Никто нас на эти работы не гонял. Наоборот, утром мы с радостью шли на завод.

Но какая здесь любовь к труду? Никакая. Деньги был нужны. Вообще труд – любой, включая самый творческий – во-

все, по-моему, не нуждается в нашей любви. Он жив сознанием его необходимости, а когда требуется – интересом докопаться до решения какой-то сложной задачи и достоинством мастера, который не может свое дело сделать плохо. Вот без этого было такое хитрое наказание – заставляли за некоторые провинности «толочь воду в ступе» – отсюда и поговорка. Работа вроде «непыльная», а от нее, говорят, сходили с ума. А у нас было все в порядке: и в поле, и на заводе работали на себя. И там, и там – «по хозяйству».

Как свинья убежала из-под топора

Осенью у нас кололи свинью. Мне всегда было жалко, я не мог на это смотреть. За лето успевал привыкнуть к ней. Это же домашнее животное. Хотя понимал, смирялся: и мясо тоже нужно. Обычно убийство совершалось из ружья. А в этот год, о котором веду рассказ (почему-то он мне запомнился), пришел мужик и сказал, что ему не надо никакого ружья, у него другая убойная технология – в лоб топором и все. Ну дело-то хозяйское. За работу было обещано не то мясо, не то самогон. Деньгами рассчитываться за такую услугу у нас не принято. Но ничего не вышло у того мужика с его технологией. Скорее всего, топором ударил, ад неудачно, свинья сшибла его и рванула в лес – он же с деревней рядом. То есть от нас сбежало все наше мясное питание на зиму. Как беглянку возвращать? Искали два дня. Нету. Она же домашняя,

может просто погибнуть, а кому она дохлая нужна. Вот и бегает по лесу: две сестренки, и мама. Ночью перерыв. Наутро мама с соседями договорилась, и на следующий день они, как настоящие следопыты, обследовали обширную территорию. К вечеру нашли. За 7 километров от деревни, за малой речкой и хутором. Нашли-то нашли, но этого мало. Надо еще домой довести. Свинья не дается, поняла, что ей грозит. Вот мама и договаривается с другим мужиком, чтобы по старинке, вернее с помощью ружья, дело сделали. И он его сделал. Потом договорились, в колхозе взяли телегу, привезли свинью. Опалили. Зимой были с мясом.

Как Жучка ушла на охоту

В деревне не иметь собаку – плохой тон. Всегда у нас была собака. Не помню, чтобы не было. Но вот старая умерла, взяли щенка. Назвали Жучкой. Росла со мной. Когда была щенком, спали даже вместе. А подросла – определили в конуру. Домой ее не пускали, бегала по двору. Главное, чтобы в огород не забегала. Я не помню, чтобы в деревне у кого-то были злые собаки. Так, лают для порядка. Замков ни у кого тоже не имелось. Единственное – чтобы скотина не вошла в дом – дверь закрывали на палочку, которую вставляли в петлю. Я прибежал из школы, Жучка сразу кидалась ко мне, мы дурачились. У меня были две такие скотинки: Жучка и кот на пеке, с которым и прожил детство. (Детство закончилось,

ни Жучек, ни кошек так больше и не было, не знаю почему).

Однажды прихожу из школы, сидит мама и рядом сосед-охотник. Промысел – его основная работа. Добычу такие охотники продавали райпотребсоюзу, ни что и жили. Таких было немало в деревне. У каждого свои уголья, охотничьи места. уходили далеко, надолго. И непременно с собаками. Это было целое хозяйство. добывали соболя, белку. Были случаи, и медведя валили. Мясо, шкуру привозили в деревню. И вот пришел такой к нам, и мама мне поясняет зачем: «Мишенька, сосед просит Жучку нашу». Оказывается, наша дворовая собака – это лайка. Очень хорошая собака, по словам соседа, и хочет ее взять, чтобы за сезон натаскать. За то обещал мяса привезти. Но как же я без Жучки? Я воспротивился. Сосед меня уговаривать: «Это же охотничья собака, она же должна охотиться, а у вас бестолково бегаёт по двору. Может, вам собака для охраны нужна? Так я найду». Но мне другая собака была не нужна. В это вечер спор ничем не кончился. Не соглашался я. А мама держала нейтралитет. Утром охотник поймал меня и снова уговаривает: «Миша, ты тоже ведь охотников будешь...». Я молчу. Прихожу из школы, охотник меня ждёт, с мамой разговаривает: «Мне послезавтра в лес, давай все-таки решим. Не получится у меня с Жучкой, я привезу тебе ее назад. А пока дай хотя бы на этот сезон». Жалко мне было Жучку отдавать. Слезы на глаза наворачиваются. Но слова соседа засели в голове, что я тоже буду охотником. Значит, надо ладить с сословием

будущих сотоварищей. Потому нельзя не согласиться. Да и Жучку приличному собачьему делу надо учить.

Но все же это был трагедия. Когда дрался, получал синяки и ссадины, не плакал. А тут, как обнял Жучку, разрыдался. Да и она как будто понимала. Прижалась ко мне, замерзла, слушая мои прощальные речи. Но – все! Отдал. Всю зиму охотника не было. Наконец вернулся, идет, жучка сзади. Я охотнику, отдай. Он – давай, мол, забирай. Я рад, зову Жучку. А она не идет. Все. Она уже другая – охотничья собака. И хозяину-охотнику, который не мне чета, останется верной. Вот так мы с ней расстались. Больше у меня собак не было.

Где Вовка? Нет Вовки...

Наш Илим – река коварная – с омутами и отмелями. Но имеет и достаточно глубокий для прохождения судов фарватер. У нашей деревни в том числе. Потому ее можно считать даже портовым поселением. Специальных причалов у нас не имелось, но некоторые катера и суда подходили к берегу, останавливались. А мы, мальцы-пацана и некоторые отчаянные девчонки, в жаркое лето из своей судоходной реки не вылезали. Купались помногу, подолгу, «до пупырышек», озноба. Сначала у берега, а как подросли, переплывали Илим.

(Чувство незабываемое, плывешь долго, над глубоким местом хочется скорее, а там течение, тебя относит, переворачиваешься на спину, отдыхаешь...)

Но взрослые ребята все то же делали, на наш взгляд, гораздо более изящно и красиво. Они брали лодку, уплывали на середину реки и там ныряли, резвились, плавали. На них смотрела вся деревня. Это был как бы водный театр. И нам хотелось так же. Договорились, взяли лодку и – на середину реки. Прыгаем, как взрослые. Нас шестеро. Выныриваем и смотрим: плывут к лодке почему-то пятеро. Где шестой? Нет Вовки, фамилия которого была, как у меня – Зарубин. Кричим, кричим. Нету. Запаниковали. Зовем взрослых. Те ныряют на глубину в районе нашей лодки, но никого не находят. Только ближе к вечеру обнаружили всплывшего Вовку, которого прибило к берегу под Красным Яром.

А потом те же взрослые нам объяснили, как и почему погиб Вова Зарубин. Нам захотелось устроить не хуже их свой водный праздник. И уверены были, что устроим. Чем мы хуже? И вроде бы все сделали, как они. Одно упустили: опытные постарше ребята прыгали с лодки навстречу течению, и когда выныривали, лодку уже относило от них на божеское расстояние. А мы прыгали с разных бортов кто по течению, а кто против без всякого разбора. И наш Володя, понятно, также, но ему не повезло больше всех: он оказался на поверхности как раз под дном лодки. Стукнулся головой, потерял сознание и захлебнулся. Первый раз в жизни я увидел тогда мертвого приятеля, который лежал на прибрежной полосе, и бегущую к неподвижному сыпу, расталкивающую нас всех и рыдающую Вовкину маму.

Безоглядная самоуверенность – детская она, не детская – всегда опасная. Потому, уже взрослым, я много раз вспоминал этот случай.

Из ружья, как из пушки

Кто не видел зимним морозным и солнечным днем окруженную тайгой, сибирскую деревню, тот ничего не видел. Конечно, у нас хорошо, как нигде, и летом, и в любое время года, но зимой – как в сказке. Когда слышу что-нибудь про «сказочный лес», сразу вспоминаю свои зимы детства. Расхожий этот образ придумал, по-моему, кто-то из обитателей наших мест: уж больно он точен, по моим воспоминаниям.

Первый снег обычно случался где-то в начале ноября. И сразу все вокруг начинало светиться – и днем, и особенно в сумерках нашей неэлектрифицированной деревни. А когда выходил поутру из дома, ярко-белое покрывало уже голубело под ясным небом, искрилось разноцветными блестками в лучах рыжего солнца, встающего за лесом в снежных шапках. И начиналась пора наших зимних забав. (Были у всех, конечно, и дела: школа, помощь по хозяйству, но не о том сейчас речь). Главные среди этих забав – лыжи и санки. На склоне, ведущем к нашей речке Илиму, – любимая трасса. Погодаевское ребячье население пропадало здесь всю зиму. Лыжи у нас были простенькие, крепления прямо на валенки, о лыжных ботинках только мечтали. Но я любил ходить на

лыжах. Намечал какой-то ориентир и шел, стараясь проложить к нему прямую лыжню. Радовался, когда получалось, а потом гонял по ней. И после таких тренировок занимал призовые места на школьных соревнованиях.

Но была еще одна забава – тоже нами любимая, вообще популярная – и не только среди детей, но и молодых парней. Это – сооружение снежных крепостей, а потом снежные баталии: одни свои укрепления обороняют, другие штурмуют. С обеих сторон применяется лишь самое ходовое и безопасное подручное «оружие», снежки. Все бы ничего, только однажды нам с Виталькой Белобородовым в процессе фортификационного строительства захотелось, чтобы наша крепость побольше походила на те настоящие, о которых мы в книжках читали. И идею, в общем, осуществили. Но как и что из этого вышло, запомнили потом на всю жизнь.

Дом Витальки был рядом с нашим, потому мы часто вместе придумывали себе разные игры. И однажды у него на огороде сложили из снежных блоков довольно высокую и просторную крепость с башенками, бойницами, тайными входами-выходами, замысловатыми переходами. Сделали все грамотно. Могу это подтвердить теперь, как строитель. Дождались, когда снег затвердел, из него можно было нарезать как бы кирпичные блоки. И возводили свои снежные неприступные стены по технологии, близкой к общестроительной. По сути, это был мой первый опыт освоения будущей профессии. О чем, конечно, тогда не подозревал. В мечтах видел

себя то летчиков, то поэтом, то тем и другим одновременно.

Хороша получилась крепость. Помаялись с ней, но вышла, что надо. Мы оглядели ее и загородились. И тут – не помню точно кому из нас, а может, обоим сразу, пришла блестящая идея. Вспомнили: в книжках, которые читали, рассказывалось, что после окончания строительства крепостей полагался церемониал их освящения выстрелом из пушки. В деревне с пушками было сложно, но за неимением их можно, решили, обойтись ружьем. У Витальки дома как раз висела на стене отцовская двустволка. Сойдет за пушку, выстрел из нее громкий. Спрашивать не то разрешения у Виталькиных родителей, рассудили, не стоит. Не поймут. А зарядить ружьем сами умеем. Видели не раз. Где патроны лежат – тоже не секрет.

Пришли с ружьем в крепость. И тут вдруг оказалось, что бойницы у нас смотрят как раз в сторону дома. Стрелять туда нельзя. Слишком громкий звук от ружья, стекла в окнах звуковая волна может выбить – это мы сообразили. Случаи такие от ружейных охотничьих салютов по разным поводам в деревне были. Значит, поняли, стрелять можно только с противоположной стороны нашей крепости. Правда, там бойниц нет – глухая стена. Но она же – снежная. Какие проблемы? Прямо дулом я протыкаю ее, мы замираем в положенной по ритуалу в таких торжественных случаях стойке «смирно», и я нажимаю на курок... Выстрел был таким громким – громче, чем из пушки, что на какие-то секунды я, по-моему, по-

терял сознание. А когда очнулся, увидел, что у меня в руках цел остался только ружейный приклад, а вся остальная часть двустволки превратилась в железные лохмотья. Физика – так обязательно все происходит, когда в ствол в момент выстрела попадает снег. Вот это мы не учли, когда осуществляли свою блестящую идею. Что нам и объяснили потом. А тогда мы стояли, оцепенев от неожиданности. Наконец до нас дошло, что ружья больше нет и нам за это попадет. Витальке особенно. Он – в слезы. Что делать? Попробовали даже с перепугу приладить остатки двустволки на место, где висела. Нет, больно уже плохо. Сняли, куда-то, спрятали. Предлагаю Витальке: скажи, что это я виноват, я все придумал. Но понимаю: отец у него сердитый, все равно его отлупит. Выручил нас старший брат Виталика. Выслушал «крепостную» историю, как-то подготовил родителей, и они оказались мудрее, чем мы думали: все поняли и больших разборок не затевали. Виталька примчался ко мне счастливый, я тоже был рад и за него, и за себя. А необыкновенную свою крепость мы с того дня так и оставили без боя. больше в нее даже не заглядывали. По весне она растаяла. Но так и осталась в памяти среди сказочных дней наших сибирских зим.

Как второй класс сорвал колхозную посевную

Посевная начиналась обычно после майских праздников. К этому сроку технику, как писали в газетах, «выводили на

линейку готовности». Вот и тогда – это была весна 1954 года – отремонтированные, отлаженные, сияющие новой краской колхозные сеялки уже стояли рядом в полной полевой готовности.

А прямо в праздники вся деревенская молодежь проводила время на волейбольной площадке. Одни играли, другие смотрели, третьи – в той числе мы, мальцы – занимались разными своими делами. А рядом с этой площадкой как раз и стояли сеялки и другая техника. Что вдруг мы их заметили и принялись рассматривать, не помню. Но уже в процессе этого осмотра кто-то из наших второклассников обратил особое внимание на такие блестящие цепи, которые крутят разные колесики в механизмах сеялок. Присмотревшись, этот любопытный кто-то сделал интересное, как ему показалось, открытие и решил им поделиться с нами со всеми: «Пацаны, это ж как гусеничные траки у танков! И след от них такой же». Тут же одну цепь немедленно, сняли, опробовали на земле: точно – след, как от маленького танка. Сразу всем захотелось иметь такую. Все стали снимать. Поиграть же хочется. В деревне игрушками нас не баловали. Вот мы и унесли эти игрушки по своим огородам. На время, конечно.

А наутро посевная. Наши механизаторы ничего не могут понять. Техника только что была в порядке, накануне опробовали, в поле сеялки ждут и – пожалуйста... Попытались на скорую руку их снова снарядить, но тут выяснилось, что запчастей, как всегда, не хватает. Кто навредил? Деревенское

следствие скорое.

Утром проснулся от грозного мужского голоса:

– Нюра, Мишка дома?

Мать испуганно:

– Да спит он...

– Давай сюда вредителя.

Я отодвинул шторку, вижу разъяренного колхозного механика и рядом с ним несколько грустных вчерашних «подельников-одноклассников».

– Где цепи?

Встал, отдал свою. К обеду были собраны все. Но их же еще надо надеть, на это еще время. И посевную колхозу пришлось начинать на день позже запланированного. А наш второй класс поставили перед всей школой и долго клеймили позором за содеянное. Оправдание у нас было одно: мы же поиграть, а потом бы все вернули и сами поставили на место. Не знали же, что посевная завтра...

Школа наша на берегу Илима, день солнечный, теплый. Мы стоим понурые. Многим из нас еще вера крепко попало от родителей. Тем, которым не так крепко, тоже не больше радости. Никто даже не пытался произнести волшебную на все случаи отговорку: «больше не будем так делать». Здесь она неуместна, «преступление» слишком серьезно. Я, сегодняшний, вспомнив эту историю, подумал, а что, если бы это случилось лет на десять раньше? «Компетентные» органы наверняка завели бы дело о подрывной деятельности и

среди взрослых села начали бы искать подстрекавших нас на это «вредительство».

А тогда мы стояли в школьном дворе и не знали, что заканчивается наша учеба в Погодаевской начальной школе. Что уже принято решение о ее закрытии.

На том эта история и закончилась. Вредителями нас больше не называли. сеять закончили вовремя.

Первый юбилей

Апрель 1956 года. Мне десять лет. Первый день рождения, который запомнился, Юбилей все-таки.

Апрель в Сибири – это еще зима. Снег еще не начинал таять. Еще морозы. Особенно по ночам. А в тот год были такие, что нынешние европейские большие холода – оттепель по сравнению с ними. Очень холодно было и в мой юбилейный день. Но гости пришли в полном составе. Никто мороза не испугался. Все это я очень хорошо запомнил, потому что мама мне устроила юбилей, лучше которого у меня, пожалуй, не было.

Никаких, конечно, особых торжеств она при этом не затевала. Просто за два дня до юбилейной даты сказала:

- Хочу, чтобы пригласил своих друзей.
- Так это все погодаевские, с кем учусь.
- Вот их всех и пригласили.

И они пришли после школы: три Вовки – Куклин, Ани-

симов и Устюжанин, Гошка Замаратских, Ванька Качин, Виталька Белобородов... Остальных, к сожалению, не помню. Слишком давно было. Но пришли все – это точно. Если бы не все – запомнил бы. Наш единственный в единственной же комнате стол был по случаю наряжен. Мама сварила кашу, отварила картошку, поставила грибы – рыжики и грузди, морс и брусники. И первая поздравила меня. А потом – ребята. Было ощущение праздника, какого не испытывал, если даже сложить все остальные юбилеи.

Досыта наевшись, мы убежали на улицу и долго катались на санках. Пришел домой затемно. Мама прижала к себе со словами: «Какой же ты у меня уже большой...» Жаль, что с ней отметил только первый свой юбилей.

Из деревни в город – через речку

Райцентр Нижне-Илимск, что через речку от нашей деревни, казался нам – погодаевским большим-пребольшим городом. Там было все для полноты жизни: две школы, три библиотеки, Дом культуры, больница, аптека, пекарня и чайная, баня и несколько магазинов. А главное, там было радио и электричество – диковинки не только для нашей, но и многих окрестных деревень. И еще там имелись необычно высокие, как они нам виделись – двухэтажные дома. Среди них особо выделялась построенная не без архитектурных затей начальная школа. Появилась она давным-давно благо-

даря еще капиталам купца Якова Черных. Светлая, просторная, с резными украшениями, она уже своим видом обещала, учиться – это интересно, это удовольствие. И, во всяком случае для меня, оно так и было. У другой – средней школы, тоже двухэтажной, просторной и удобной, рассказывали нам, иная история.

В некотором роде наша деревня была пригородом Нижне-Илимска. Только в школу и по другим делам у нас не ходили, а плавали на лодках-«шитиках». Мать так и спрашивала: «Ты из школы сегодня когда приплыл?».

Мне нравилось это село-город. Блаженством было посидеть здесь в чайной, поесть макарон, попить чаю. А потом пройтись по улицам. Идешь, а по сторонам деревянные тротуары, мосточки через овражки. Красота!

Он был центром притяжения. Отсюда летали самолеты в Иркутск и другие населенные пункты Иркутской области. Летом по Илиму лошади тянули лодки-баркасы, они шли даже с низовья Ангары. Раза два, таким образом, я виделся со своим дедушкой Савелием и бабушкой Ульяной, которые жили в деревне Ката. молодежь ехала учиться в село. Средняя школа до 1950 года была единственной в районе.

Больше всего она запомнилась. Мне повезло. Вспоминаю ее с чувством огромной благодарности. Всем, или почти всем, чего в жизни добился, я обязан ниже-илимской школе, ее учителям. Это была настоящая интеллигенция лучшего, старого закала. Помню наш школьный сад. За ним уха-

живали все классы. Я даже посвящал этому стихи, они так и назывались: «Деревья школьного сада.»

В эту школу ребята «плавали» не только из Погодаевой, но и других дальних деревень. Из Игнатьева – это три километра. Из Черемново – это еще дальше. И все пешком и вплавь.

Помню, как пришел в школу в день самого сильного мороза. Было несколько таких дней, и нам сказали, что пока не надо ходить на уроки. Прошло три дня. Вышел на улицу: вроде мороз спал. А может, мы просто к нему уже привыкли. Я домой: «Мама, пойду в школу?» – «Ну иди», – говорит. А когда мороз, такой туман, что ничего не видно. Меня встретили с удивлением: «Миша, радио не слышал?». оказывается, объявили еще раз, что школа закрыта из-за сильного мороза. (Потом узнал, что в тот день была рекордная температура – минус 56 градусов). Меня посадили к печке. Я просидел полдня, прогрелся и – домой.

Вспоминаю наводнение в Нижне-Илимске 1953 года. Это было что-то ужасное, почти все село затопило. Наша Погодаева было чуть-чуть повыше, и этого чуть-чуть хватило, чтобы нам беды избежать. А Нижне-Илимск плавал.

Чем еще запомнился Нижне-Илимск? Ну! Же там впервые полетал на самолете. Был какой-то праздник, и нас, «мелких», катали на кукурузнике. Впервые смотрел на наши места из поднебесья. Нижнее-Илимские сопки плыли внизу, как декорации кукольного театра. Одна сторона у всех была

снежно-белая, другая утыкана по белому елочками с булавку. В тот день я твердо и окончательно решил, что стану летчиком. А уж потом – поэтом.

Зачем я об этом пишу (Вместо послесловия)

«Ну, съездил в свое детство и что?» – спросила меня Нина – моя жена, когда я явился из сибирского путешествия. И добавила что-то насчет того, что нельзя жить воспоминаниями – то есть, прошлым – современному человеку, у которого есть дела, семья и вообще полно сегодняшних забот, не терпящих отлагательства. Все верно, как всегда у Нины. Возразить нечего.

Действительно, жить воспоминаниями нельзя. Тем более долго предаваться им в ущерб делу – Боже упаси. Только, с другой стороны – и Нина тут меня понимает – не знать, не помнить прошлого, не нести его в себе человек не может. Больше того, каждому, как и мне, хочется почему-то еще рассказать – устно или письменно – что с ним было. Зачем-то это надо. Зачем? Вот я читаю стихи очень уважаемого мною поэта Евгения Евтушенко и после каждой строчки удивляюсь: почему это не я написал? Все как будто про меня.

*...Начало, где вниз ты по лестнице мчался
Как только кончался последний урок
И в свалке веселой у раздевалки
Протягивая ты, торопясь, номерок
И в куче мальчишек, разгоряченных*

*Пускай у девчонок, были смешки.
Ты несся вперед, задыхаясь от бега
И мокрого снега лепя снежки
Мелькали ручьи, облака и кварталы,
Но все же надо всем понималось одно
Чего тебе очень уже не хватало
Чего ты понять не мог все равно.
Хотелось любви настоящей, не ложной
И как там теперь уже душой не криви
Конечно счастливой
Но если уж сложно,
То пусть не счастливой
Но все же любви...*

Случилась и у меня такая безответная любовь. Я-то пребывал почему-то в уверенности, что достоин большего ответного чувства, а моя избранница (это 5-й класс) не захотела с этим согласиться. Тогда это была для меня трагедия. Едва не конец света. Но как раз тогда-то я впервые и ощутил, как это сложно, какая это редкость – найти, обрести взаимное чувство. Но, может быть, найти его потом как раз и помог в том числе этот первый урок.

Здесь в основных главах не написал об этом. И еще о многом важном, необыкновенном, из чего состояло детство. Как, например, пасли коров с Женькой, соседом по кличке кондитер. С ним мы часто придумывали всякие новшества. Однажды даже сотворили мост через Малую речку, чтобы ко-

ротким путем перегнать коров на пастбище с сочной травой. Женька говорил: есть такое правило – ели первую корову перевести, то пойдут все. Как мы тянули эту бедолагу корову! Но она провалилась передними ногами сквозь щели между деревяшками, которые у нас служили настилом моста. Провалилась, повисла, бедная, беспомощно мыча. Я – в деревню. Это больше трех километров. Привел мужиков, она наладили специальное приспособление из бревен и стали поднимать корову, нещадно ругая нас – мотостроителей.

А еще я не написал, как пела моя песня, у меня не хватило слов рассказать об этом. Голос у нее был негромкий. Пела она редко, наверное, причин для этого было мало. Но пела душевно. Голос удивительно чистый, как ручеек в лесу.

*За горою у колодца,
Где студеная вода,
Вслед за жнейкою вязала
Снопы девка молода.*

Этот ручеек звучит во мне и сегодня, он исчезнет вместе со мной.

Или вот еще один важный детский урок, который нельзя забывать. Я, как все в нашей стране исторического материализма, получил тогда хорошую порцию атеистической пропаганды, убедившей меня, как религия – опиум для народа. Что Бога нет. Я в это твердо верил. А мама верила Богу. Как добру, как светлой жизни, которая где-то есть, должна быть.

Это было у нее в душе, в сердце. И у нас стояла иконка в красном углу. Не какая-нибудь антикварная – обычная железная, с выбитой по металлу Богородицей с младенцем на руках. Мама на нее молилась. А во мне против этого начало протестовать все мое атеистическое воспитание. И однажды я пришел из школы, взял иконку и подложил ее под коврик при входе, о который мы вытирали ноги. И вот мама пришла, вытерла о тот коврик – а значит и об иконку – ноги. Я возликовал: «Вот, ты вытерла ноги о лик Богородицы, и что Бог?» До сих пор помню, как потемнело ее лицо, когда я это сказал. Взмахнула руками, но злость быстро прошла. Несмышлениш, что с меня взять. Заморочили мальчонке голову. промыла иконку под умывальником, вытерла насухо и сказала: «Миша, никогда больше так не делай». И для убедительности добавила: «Боженька накажет». «Как?» – весело не веря поповским бредням спросил я. Она не сразу нашлась, что ответить: «По разному. Вот будешь ты купаться, к примеру, прилетит камушек кинет, а Господь». И при всех моих твердых атеистических убеждениях слова эти я надолго запомнил. До сих пор помню. А тогда, мальчишкой, купаюсь в нашей речке, частенько заглядывал вверх и смотрел, не летит ли мне на голову с неба что-нибудь.

И ведь это тоже был я. Хотя сейчас мне иной раз кажется, что совсем другой человек. Но мне о нем нельзя забывать. Без памяти о том, как, где, среди кого прежде жил, без всяких этих детских, да и всех прошлых больших и малых

уроков жизни, что складываются в наш опыт, вообще нет человека. В истории имеются реальные тому примеры. Может быть самый жестокий – манкурты (о них впечатляюще рассказал Чингиз Айтматов в романе «...И дольше века длится день»), средневековые рабы, изуверским способом лишенные памяти, не знающие своего прошлого, а потому вполне довольные своим рабским настоящим и уж вовсе не думающие о будущем. Все их помыслы сводились к утоплению элементарных инстинктов и тупым исполнением повелений хозяев. Это были особо ценные рабы – настоящие биологические роботы, которых не требовалось даже стеречь. И достигалось это всего-то тем, что их лишали воспоминаний о том, кто они и откуда. Но с тех пор – и особенно с появлением современных вездесущих СМИ – это делается гораздо проще. Примеры зомбирования на разные лады вполне вроде бы свободных граждан (как тот же мой заморочный детский атеизм) в прошлом и уже в начале нынешнего века во многих странах всем известны. Техника другая, но чуть та же: забудьте о себе, мы лучше вас знаем, что вам нужно. И первое, что стоит сделать, чтобы не поддаваться наваждению – это как раз не забывать о себе и, прежде всего, о дорогих тебе людях из страны детства, обо всем, что с ней и с ними связано. Пока их помним, они помогают.

Об авторах



Замаратский Георгий Иннокентьевич – Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Почетный гражданин города Железногорск Илимский. Член Союза Писателей, автор произведений: «Твой ход Яверя», «Пыхтуны», «Поселенец», «Приглашение в память», «Песни полей. Илимские были», сборников стихов: «Пою Илим», «Рядищев в Илеме», «Паренек из деревни Зыряновой», «Слова и слезы Илима». Родился в деревне Погодаевой.



Зарубин Михаил Константинович – Заслуженный строитель Российской Федерации. Почетный строитель России, Почетный архитектор России, почетный академик РАН. Автор книги «Я родом с Илима», сборника очерков «О Почетных гражданах Нарвской Заставы». Детские годы прошли в деревне Погодаевой.